

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

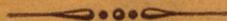
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ

ДОСТОЕВСКИЙ

В

ПРОЦЕССЕ

ПЕТРАШЕВЦЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ - ДОСТОЕВСКИЙ В ПРОЦЕССЕ



ПОРТРЕТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 1847 г.
Работы художника К. Трутовского. Подлинник хранится в музее
им. Достоевского в Москве

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ

ДОСТОЕВСКИЙ
В ПРОЦЕССЕ
ПЕТРАШЕВЦЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1936 ЛЕНИНГРАД

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непрерывный секретарь академик Н. ГОРБУНОВ.

1936 г.

Редактор издания Н. А. Энгельс

ДОСТОЕВСКИЙ
и
ПЕТРАШЕВЦЫ

I

Едва затихли раскаты февральской революции 1848 г. на Западе, как царское правительство в России принимает ряд мер для борьбы с „крамолой“, с идеями революции в русском обществе. Но веяния революции, пронесшейся по Европе, освежили на время душную атмосферу николаевской реакции и сказались в усилении деятельности кружков, интересовавшихся социализмом и вопросами переустройства общества на новых началах. В самом Петербурге оказались люди, занимавшиеся пропагандой социализма. Это были петрашевцы, которые вскоре же оказались в центре наблюдений со стороны III отделения. Тринадцать месяцев правительство неуклонно следило за этим кружком фурьеристов, собирало сведения о том, как мечтали они о будущем устройстве общества, наконец, арестовало, подвергло суду и сослало на каторгу. В числе главных членов кружка, „одним из важнейших“, по определению следственной комиссии, был и Ф. М. Достоевский.

II

Он был арестован утром 23 апреля 1849 г. Через десять с небольшим лет (в 1860 г.), вернувшись после каторги в Петербург, он описал в альбоме дочери своего давнишнего друга А. П. Милюкова это событие так:

„Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 г.) я воротился, — припоминает Ф. М. Достоевский, — домой часу в четвертом от [Н. П.] Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные

и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: „Вставайте!“

Смотрю: квартальный или частный пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось?— спросил я привставая с кровати.

— „По повелению...“

Смотрю: действительно „по повелению“. В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля....

— Эге? Да это вот что!..— подумал я.— Позвольте же мне...— начал было я.

— Ничего, ничего! одевайтесь. Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли?— спросил я.

— Гм... Это, однакоже, надо исследовать... бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какой то тупой торжественностью, приличною событию, впрочем торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых¹.

¹ См. А. П. М и л ю к о в. „Литературные встречи и знакомства“. 1890, СПб, стр. 200—203.

Знакомые — это члены того же кружка петрашевцев. В ночь на 23 апреля было арестовано 34 человека; в числе их и сам организатор кружка М. В. Буташевич-Петрашевский.

Что же представлял собой этот кружок, на „многолюдных сходках которого, по словам мемуариста А. П. Милюкова, читались речи политического и социального характера“?

III

Кружок Петрашевского представлял собой сложное образование. С начала 1846 г. до 1848 г. существовали только пятницы у Петрашевского. „Раз в неделю у Петрашевского,— пишет в своих воспоминаниях петрашвец Д. Д. Ахшарумов,— бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно одни и те же люди. Это был интересный kaleidoscope разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение в роде лекции. Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский о системе Фурье, в одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю“.¹

С осени 1848 г. под влиянием революционных потрясений на Западе, всколыхнувших и русское общество, возникли еще кружки: Кашкина, Дурова, Пальма и Плещеева. Это были разветвления основного кружка Петрашевского. Собрания по пятницам у Петрашевского являлись как бы пленарными заседаниями петрашевцев, входивших еще и в другие, более узкие кружки. Так, в кружок Кашкина входили Д. Д. Ахшарумов, братья Дебу, Н. А. Спешнев.

Кружок Дурова, Пальма и Плещеева составляли Н. А. Момбелли, Ф. Львов, В. А. Головинский, Н. П. Григорьев, студент Филиппов, братья Достоевские, Н. А. Спешнев, Н. А. Мордвинов, Е. И. и П. И. Ламанские.

Кружок петрашевцев не был единым и цельным по своим воззрениям. Напротив, он объединял людей умеренных

¹ Д. Д. А х ш а р у м о в. „Из моих воспоминаний 1849 г.“ Изд. СПб. 1905, стр. 15.

взглядов (как, например, Д. Д. Ахшарумов и др.) и людей, стоявших на крайне левых позициях (как, например, Н. Спешнев). Основным началом, объединявшим петрашевцев, было учение социалиста-утописта Фурье.

М. В. Петрашевский — основатель и главный идейный вдохновитель кружка — называл себя „старейшим пропагатором социализма“, причисляя себя к „социалистам фурьеристского толку“, т. е. к числу людей, „признающих настоящее устройство быта общественного не соответствующим естественным потребностям человека и потому требующим преобразования совершенно согласно требованиям природы человеческой и желающим вместо настоящего противоестественного устройства быта общественного“.¹

Петрашевцы в целом разделяли общее убеждение в необходимости немедленного уничтожения крепостного права, в проведении реформ, которые бы дали свободу слову, общественному мнению и гласный суд, но в то же время расходились в понимании способов проведения этих реформ, в способах установления этих порядков. Следственной комиссии было известно, что на собрании 1 апреля 1849 г. у Петрашевского при обсуждении вопроса об освобождении крестьян, „говорено было, что идею каждого должно быть освободить этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может освободить их, ибо без земель освободить нельзя; освободив же с землями должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет, освободив же крестьян без земель или не заплатив за землю помещикам правительство должно будет поступить революционным образом“. Комиссия допытывалась от обвиняемых, какими же путями думали петрашевцы освободить крестьян без участия правительства. В решении этого вопроса, а также будущего государственного строя и расходились между собой участники кружка Петрашевского.

Петрашевский отстаивал освобождение крестьян „с тою землею, которая ими была обрабатываема, без всякого вознаграждения за то помещика“. Ему было ясно, что самодержавие не согласится на это, потому он должен был признать, что „перемена правительства нужна, необходимо нужна“.

¹ См. в сб. „Петрашевцы“ т. III, под ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ 1928, стр. 41.

По его мнению, республика должна заменить самодержавие, и единственно достойной формой правительства должно стать народное представительство. Но он, Петрашевский, не разделял революционного метода действий; напротив, он предлагал мирные средства (суд присяжных), и для достижения этой реформы он полагал достаточной мерой петицию царю от дворянства и буржуазии.

Из трех первоочередных реформ — судебной, крестьянской и цензурной—Петрашевский считал основной первую.

Д. Д. Ахшарумов был сторонником капитализма и буржуазной конституции. „Надо оставить монарха,— говорил он,— для названия, но уже взять его в руки; надо конституцию, которая дала бы свободу книгопечатания, открытое судопроизводство, устроила бы особое министерство для рассмотрения новых проектов об улучшении общественной жизни... Никаких вмешательств в дело частных лиц“.

Революционно-настроенный Н. А. Спешнев склонялся к решительным действиям. При аресте в его бумагах найден был текст присяги, который гласил о том, что член общества должен „принять полное открытое участие в восстании и драке и споспешествовать успеху восстания“.

В бумагах его был и проект организации, которая бы возглавлялась центральным комитетом и посредством революционно-коммунистической пропаганды подготовила бы восстание. В области теоретических взглядов он сочувствовал коммунизму. Кроме сочинений социалистов-утопистов и французских материалистов (Гельвеция, Гольбаха и др.), которые составляли библиотеку петрашевцев и были предметом их изучения, Спешнев был знаком с „Манифестом Коммунистической партии“ К. Маркса и Ф. Энгельса. Он изучал Фейербаха, как и Петрашевский.

Большинство петрашевцев не исповедывало таких крайних взглядов. И. П. Липранди, агент правительства, наблюдавший петрашевцев в течение тринадцати месяцев, охарактеризовал большинство петрашевцев как людей умеренного образа мыслей и признал среди них только наименьшее число способных на революционные действия.

„Некоторые из открытых соучастников, казалось мне,— писал И. П. Липранди Следственной комиссии,— могли быть точно заговорщиками в изъясненном выше смысле этого слова;

у них видны намерения действовать решительно, не страшась никакого злодеяния, лишь бы только оно могло привести к желаемой им цели, но не все были таковы. Наибольшая часть членов предполагала идти медленнее, но вернее, и именно путем пропаганды, действующей на массы. С этой целью в собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства, как вооружать крестьян против помещиков, против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства, которые они сами из себя уже совершенно изгнали, проповедуя, что религия препятствует развитию человеческого ума, а потому и счастью; тут же было рассуждаемо о частных мерах, как действовать на Кавказе, в Сибири, в Остзейских губерниях, в Финляндии, в Польше, в Малороссии“.¹

Вопросам пропаганды действительно многие петрашевцы уделяли внимание. Так, П. Филиппов составил „Истолкование десяти заповедей“, где доказывал незаконность крепостного права. Н. Григорьев в популярной форме „Солдатской беседы“ указывал солдатам-крестьянам путь расправы с царем, подобно тому, как сделали французы со своим королем. Петрашевцы от слов, от мечтаний не перешли к делу. Но самый факт организации кружка, как центра идей и обмена мнений по назревшим вопросам общественно-политической жизни, является революционным делом. Петрашевцы были продолжателями революционного движения в стране. Петрашевцы не были неожиданностью, возникшей спустя 23 года после декабризма и нарушившей политическое затишье николаевской реакции. Петрашевцы — одно из звеньев длинной цепи попыток русского общественного движения оформить и обосновать протест против самодержавно-крепостнического строя.

Петрашевцы разделяли многие положения утопического социализма. Но, вопреки политическому индифферентизму Фурье, некоторые из них вслед за декабристами признавали необходимым политический переворот и насильственные

¹ См. „Отрывок из мнения действит. статск. сов. Липранди“ в сборнике „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 14 и 15.

действия, как и декабристы. У петрашевцев были существенные отличия от декабристов. И. П. Липранди хорошо подметил социальное несходство тех и других. Он же указал на разношерстность состава петрашевцев, среди которых преобладали представители мелкопоместных дворян и разночинцев. „В заговоре 1825 года участвовали исключительно дворяне и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, с гвардейскими офицерами и с чиновниками министерства иностранных дел рядом находятся некончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком“.¹ Один только Н. А. Слешнев из всех петрашевцев был крупным, богатым помещиком и жил на доходы от своего имения.

Петрашевцев можно рассматривать как промежуточное звено между дворянскими 30-х и разночинческими революционерами 60-х годов. Движение петрашевцев в своих основных тенденциях было движением демократическим, отражавшим назревшие вопросы крестьянских масс, но в то же время далеким и оторванным от масс. Здесь приложимы слова Ленина, сказанные о декабристах: „Страшно далеки они от народа“.²

Сам Достоевский в изъятom цензурой отрывке из „Дневника писателя“ 1877 г. высказал убеждение в преобладании „барского“ элемента среди своих единомышленников: „Петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами... И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же господскому, „барскому“, так сказать, обществу... Если же между петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов“.³

С утверждением Достоевского о социальном единстве декабристов и петрашевцев едва ли можно согласиться. В. И. Семевский, несомненно, более прав, указав, что петрашевцы в большинстве случаев принадлежали к более демократическому слою общества, чем декабристы.⁴

¹ См. „Отрывок из мнения действит. статск. сов. Липранди“ в сборнике „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1937, стр. 14 и 15.

² В. И. Ленин. Собр. соч. изд. 3-е, т. XV, стр. 468.

³ См. в сб. „Достоевский“. Статьи и материалы. Изд. „Мысль“, 1922, стр. 370 и 371.

⁴ См. „Из истории общ. идей в России в конце 1840-х гг.“ М. 1919, стр. 8.

Движение петрашевцев, зародившееся до европейской революции 1848 г., было порождено противоречиями социально-экономической и политической жизни России в первую половину прошлого столетия. В сороковые годы основной классовый конфликт проистекал от столкновения интересов дворянства и крепостных крестьян. Стремление последних к освобождению от помещичьей кабалы создавало сильный мужицкий протест, заявлявший о себе в те годы правительству и дворянам усилением крестьянских восстаний. И. П. Липранди вынужден был указать Следственной комиссии на возрастающее число „преступных посягательств на власти и помещиков со стороны народа... Случаев убийства помещиков своими крестьянами в 1846 г. было 12, а в 1848 г. — 18. Случаев неповиновения крестьян массами в 1846 году было 27, а в 1848 г. — 45“. Он же сообщает при этом о массовых движениях крестьян. „Обнаружилось,— писал он,— в предпрошлом (т. е. в 1847 году) почти поголовное движение всей Витебской губернии к Петербургу, остановленное уже на половине пути под Порховым при посредстве благовременного и решительного действия вооруженной силы... в то же самое время такие же движения обнаружались еще в трех губерниях — Воронежской, Курской и Саратовской“.¹ Петрашевцы знали о таких настроениях и проявлениях их в крестьянских массах. Головинский, например, мотивировал „возможность внезапного восстания крестьян“ тем, что они „уже достаточно сознают тягость своего положения“..., что они „сознают всю несправедливость своего положения и стремятся всячески от него избавиться“. Достоевский подтвердил такой именно смысл выступления Головинского (см. далее на стр. 156 и 163). Но крепостное право и крепостнические формы хозяйства стесняли и мешали развитию промышленного капитализма. Последний стремился к разрушению феодальных оков в общественно-экономических отношениях. Некоторая группа, более умеренных, петрашевцев выражала интересы буржуазно-помещичьих и капиталистических кругов, признавших невыгодность барщинного труда и крепостнических методов хозяйствования. В силу зачаточности классовой

¹ См. „Отрывок из мнения действ. статск. сов. Липранди“ в сб. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 20.

дифференциации общества в 40-е годы, в силу недостаточной зрелости разночинческого движения, выражавшего демократические требования, и вследствие недоразвитости капитализма, представители этих двух тенденций объединялись воедино в движении петрашевцев. И те и другие одинаково не мирились с удушливой атмосферой николаевской реакции, стремившейся изолировать Россию от воздействия Западной Европы, которая шла по пути буржуазных революций и желавшей всяческими мерами сохранить в нетронутом виде отсталый социально-политический строй.

Критика петрашевцев была целиком направлена против феодально-крепостнических порядков во имя буржуазно-демократических по существу требований, ибо и либерально-умеренное крыло петрашевцев испытывало благотворное влияние, шедшее со стороны крестьянских масс. Тот же Липранди верно подметил политический смысл требований петрашевцев, когда в своей записке утверждал, что „в деле этом (т. е. петрашевцев) скрывается зло великой возможности, угрожающее коренным потрясением общественному и государственному порядку“.¹

„Нельзя забывать, что в ту пору, — говорит Ленин, — когда писали просветители XVIII века (которых общественное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40 до 60-х гг., все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками“... Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного“.²

Во взглядах петрашевцев демократизм и социализм сосуществовали, в силу указанной незрелости освободительного движения, вместе с либерализмом.

В силу неразвитости капиталистических отношений в те годы, сочетание это принимало разнообразные формы и

¹ См. в сб. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 16.

² „От какого наследства мы отказываемся“. Собр. соч., 3-е изд., т. II, стр. 315.

существовало в неотделимом единстве. У одних представителей перевешивал демократизм (Черносвитов, Спешнев), у других — либерализм брал верх, был ведущей тенденцией (Достоевский и др.).

Положительная же программа петрашевцев была их слабым местом. Они пытались применить мероприятия, выдвигаемые утопистами, к русской жизни. Но условия России 40-х годов, где полновластно царили феодально-крепостнические отношения и отсталые формы общественно-политической жизни, были далеки от буржуазного Запада, где феодализм был свергнут и капитализм успел совершить не одну революцию. Но если и для Западной Европы практическая сторона учения утопического социализма была бесплодной (Энгельс), то тем менее „мечтания“ утопистов оказывались приложимыми в русской действительности. Правда, некоторые из петрашевцев сумели взять от утопического социализма критику язв современного общества, но в силу политического гнета эта критика прозвучала в их сочинениях и выступлениях весьма слабо, осторожно.

Только крепостное положение крестьян — основа феодально-крепостнического строя — вызывало дружный и совместный протест петрашевцев; меры же к устранению этого опять-таки были неопределенны, утопичны. К русским утопистам в еще большей степени приложимы слова Энгельса о несоответствии правильности критики утопическим социализмом недостатков капиталистического общества и утопичностью практических мероприятий, выдвигавшихся этим социализмом: „незрелому капиталистическому производству, невыясненности взаимного положения классов соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще окутанное туманом неразвитых экономических отношений, пришлось изобретать, создавать из головы“. Петрашевцы также „создавали из головы“, когда пытались осмыслить и разрешить социальные противоречия русской действительности, и их попытки представляли еще большую степень утопичности, неосуществимости и бесплодности. Все эти условия и породили незрелость, разноречивость и кабинетность движения петрашевцев, оставшегося не более как „заговором идей“, по определению самой Следственной комиссии.

Достоевский вошел в кружок Петрашевского весной 1847 г. До этого он был членом другого кружка — братьев Бекетовых. Кружок по случаю отъезда Бекетовых в начале 1847 г. в Казань распался. Отдельные его члены (Плещеев, Ханыков и др.) сблизилась после этого с многочисленным кружком Петрашевского. Кружок Бекетовых не имел определенного характера. Д. В. Григорович, член этого кружка, говорит о том, что во время собраний у Бекетовых „езде слышался негодующий благородный порыв против угнетения и несправедливости“.¹ „Гуманическими космополитами“ называет Берви-Флеровский² участников кружка Бекетовых.

К Бекетовым Достоевский пришел от Белинского. С последним он познакомился в середине 1845 г. В мае Белинский прочитал рукопись „Бедных людей“, пришел в восторг и выразил желание познакомиться с автором. Первая встреча критика с писателем оставила неизгладимый след на последнем. Вспоминая через 30 с лишком лет, Достоевский („Дневник писателя“ 1877 г.) писал: „Я вышел от него (т. е. Белинского) в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей, и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих (а я был тогда страшный мечтатель)“. С осени 1845 г. Достоевский „весьма часто“ бывает у Белинского, оживленно беседует и горячо спорит с ним на общественные темы и по религиозным вопросам.

— „В первые дни знакомства,— говорит Достоевский о Белинском,— привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самую простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру“. Верой Белинского в тот момент был социализм. И Достоевский правдиво вспоминает: „Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной

¹ См. „Литературные воспоминания“, под ред. В. Комаровича, изд. „Академия“, Л. 1928, стр. 149.

² См. „Голос минувшего“, 1915, № 3, стр. 138.

с атеизма“. Достоевский возмущался до слез антирелигиозными взглядами „неистового Виссариона“ и, однако, „страстно“ принял „тогда все его учение“.

Но Достоевский не мог быть и не был „верным“ последователем Белинского. С исторической точки зрения ясно, что их кратковременная „дружба“ по сути дела была принципиальным спором. Столкновение и расхождение их было неизбежно, и оно вскоре обнаружилось, ибо социальные пути критика и писателя шли в разные стороны. Критик в это время пришел к фейербахизму и склонялся к революционно-демократическим взглядам на преобразование николаевской реакции. Писатель же верил в „мирный путь“ нравственного обновления человечества. Показывая безвыходность положения „бедных людей“, он не звал к разрушению „гнусной расейской действительности“. Он был и верующим человеком. Личные вкусы также могли влиять на исход отношений; могли усилить и ускорить разрыв. Но основная причина всего лежала глубже, в социально-политических и литературно-общественных взглядах того и другого современника.

С Петрашевским Достоевский познакомился, по его словам, при участии Плещеева весной 1846 г. (перед отъездом в Ревель к брату Михаилу Михайловичу, подр. см. на стр. 110),—но „пошел я к нему,—показал Достоевский,—в первый раз уже около поста сорок седьмого года“. Достоевский свои посещения Петрашевского охарактеризовал очень осторожно: „В первые два года знакомства (т. е. 1847—1848 гг.) я бывал у Петрашевского очень редко; иногда не бывал по три, по четыре месяца и более. В последнюю же зиму стал ходить к нему чаще. Но тоже из месяца в месяц“ (подр. см. стр. 110 и 113). В своем показании Достоевский вовсе умолчал, что в последний год он стал участником другого, более тесного кружка. Пребывание Достоевского, Плещеева и других членов распавшегося бекетовского кружка на собраниях Петрашевского было непродолжительно. В ноябре или в конце октября 1848 г.,—как показал Спешнев,—некоторые, „которым почему-либо не нравилось общество Петрашевского, вознамерились перестать посещать его и открыть свой салон. Так, пришли ко мне в одно время Плещеев и Достоевский и сказали, что им хотелось бы сходиться со своими знакомыми в другом месте, а не у Петрашевского

где и скучно и ни об чем не говорят, как о предметах учебных, и люди почти незнакомы, да и страшно сказать слово“. ¹ Таким образом через год — полтора после вступления в кружок Петрашевского, по инициативе Плещеева и Достоевского, а также и Дурова, хотя Спешнев о нем и не говорит, произошло отделение некоторой части петрашевцев в новый кружок, так называемый кружок Дурова, Пальма и Плещеева. В. И. Семевский выделяет собрания у Плещеева и различает кружок Дурова, Пальма и Щелкова, с одной стороны, и кружок Плещеева ² — с другой. Мы не придерживаемся такого деления, ибо это несущественно, так как и сам В. И. Семевский утверждает, что „большинство тех же лиц бывало и у А. Н. Плещеева“. ³

Кроме того, был организован Спешневым еще конспиративный и узкий кружок из пяти-семи человек (в него входил и Ф. М. Достоевский). Д. Д. Ахшарумов так охарактеризовал этот кружок: „Свой особенный, сколько мне известно, с особым направлением кружок составлял Спешнев, как бы соперничая с Петрашевским и некоторое время готовый устраниваться от него, но Петрашевский, видя в этом ослабление общего дела, сумел предупредить такое разъединение“. ⁴

Следственная комиссия не раскрыла этого кружка, и деятельность его и состав членов потому не нашли отражения в официальных документах. Правда, одно из печатаемых здесь показаний Достоевского касалось как-раз вечеров у Спешнева. Ему был поставлен Следственной комиссией прямо вопрос о собраниях у Спешнева. Достоевский ответил уклончиво, и Комиссия, судя по отметке на подлинном листке допроса (см. снимок на стр. 127), придала значение только показаниям его о вечерах у Дурова. Но это обстоятельство едва ли может служить поводом к сомнению в существовании подобной организации. При долговременности

¹ См. В. И. Семевский „Петрашевцы: С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев“ — „Голос минувшего“ 1915, № 11, стр. 39 и 40.

² Подр. см. в его статье „Следствие и суд по делу петрашевцев“, „Русские записки“, 1916, № 9, стр. 42.

³ Там же, стр. 42.

⁴ „Из моих воспоминаний 1849 года“, изд. 1905 г., стр. 18.

наблюдения за петрашевцами и хорошей организованности наблюдения правительство, однако, осведомлено было далеко не о всем. Начав следствие, оно не знало, например, о существовании кружка Дурова. Спустя два месяца после начала следствия Следственная комиссия обнаружила кружок Дурова и только в июне (1849 г.) стала собирать сведения о нем. Неудивительно, что небольшой и кратковременный, только незадолго до ареста петрашевцев, надо предполагать, образовавшийся кружок Спешнева, остался благодаря молчанию о нем участников необнаруженным, забытым.

Но в литературе о нем осталось свидетельство, и, как увидим, это свидетельство принадлежит весьма осведомленному и заслуживающему доверия лицу. Поэт А. Н. Майков, близкий друг Достоевского в 40-е годы и позднее не порвавший тех же отношений с Достоевским, в недавно опубликованном письме к П. А. Висковатову сообщил, как в 1849 г., незадолго до ареста, Достоевский уговаривал его принять участие в этом кружке; „И помню я, — писал Майков, — Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал свое красноречие о святости этого дела“.¹ А. Н. Майков знал, в чем полагал смысл своей работы кружок Спешнева: „...А решили они завести тайную типографию и печатать“. А. Н. Майков называл приблизительно и число участников; кроме Спешнева, Достоевского и Филиппова он указывает: „...еще пять или шесть — не помню“. Майков не вошел в кружок, разубеждал Достоевского, „доказывал, как он говорит, легкомыслие, беспокойность такого дела и что они идут на явную гибель“, но был посвящен во многое и благодаря тому сообщил в письме в общем верные сведения о том, почему осталась нераскрытой типография Спешнева. На следствии, как мы знаем, выяснилось, что вместо литографии была устроена домашняя типография, и ее организовали только двое, — Филиппов и Спешнев. При этом Спешнев заявил, что Филиппов только исполнял его план и на деньги Спешнева. Комиссия в виду этого нашла, что „умысел этот не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его,

¹ См. в сб. „Ф. М. Достоевский“: статьи и материалы под ред. А. С. Долинина, Пб. 1922, стр. 267.

Филиппова и Спешнева, ибо они положили хранить это дело в величайшей тайне“. При обыске у Спешнева станка не нашли, а одни пустые ящики, оклеенные ореховым деревом. Куда девался станок и принадлежности Следственной комиссии установить не удалось. А. Н. Майков объясняет все это очень просто: „Впоследствии я узнал, — пишет он Висковатову, — что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М-ва (кого разумеет здесь Майков — трудно решить. — Н. Б.), которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе Комиссии и по уходе (sic!), — домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом улика была уничтожена. Обо всем этом деле Комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал. И если что меня тяготило в ожидании когда меня арестуют (а этого я ждал по близким связям с Достоевским и Плещеевым), а потом чего более я боялся уже на допросе в крепости — это именно этой тайны посещения Достоевского и того, что он мне сообщил. Но на допросе об этом не спрашивали, и я весьма свободно и развязно отвечал об теории Фурье и фаланстериях, даже не без юмора, члены смеялись, когда я рисовал, какие это будут казарменные жилища, где будет и мой номер, и вся жизнь будет на глазах и никаких амуров не останется в тайне. Распространялся о неуживчивости Достоевского, который перессорился со всеми, кроме меня, но, наконец, в последнее время охладел и ко мне, и мы видались реже“. ¹

Рассказ А. Н. Майкова подкупает правдивостью и в отношении Спешневского кружка, и в отношении Достоевского, и в отношении поверхности допроса и знаний Следственной комиссии о некоторых сторонах заговора.

¹ См. в сб. „Ф. М. Достоевский“: статьи и материалы под редакцией А. С. Долинина, Пб. 1922, стр. 268 и 269.

Поэтому надо признать правдивым замечание А. Н. Майкова в письме к Висковатову, что „дела Петрашевского никто до сих пор путно не знает, что видно из „дела“, из показаний, все вздор; главное, что в нем было серьезного, до комиссии и не дошло“. Не придавала важного значения Комиссия сближению Достоевского со Спешневым, под влиянием которого Достоевский идет вербовать близкого своего друга А. Н. Майкова и убежденно доказывает важность социализма для спасения тогдашней России.

V

Посмотрим, каким идейным путем пришел Достоевский к петрашевцам, к Дурову и, наконец, сблизился со Спешневым? Еще раньше чем попасть в кружок Бекетовых, Достоевский вращался, как мы знаем, в кружке Белинского, где под влиянием бесед с неистовым Виссарионом страстно усвоил учение социализма. „Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге, — вспоминает Достоевский, — ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 1848 г. были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 1846 г. был посвящен во всю правду этого „обновленного мира“ и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самих оснований (христианских) современного общества, о безнравственности собственности... все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия“.

И до встречи с Белинским, еще более подогревшим гуманизм Достоевского, последний явно переживал демократические настроения, близкие к социальному гуманизму. В недавно опубликованных письмах¹ его к родственнику и опекуну после смерти отца П. А. Карепину за 1843—1844 гг. нахо-

¹ Напеч. в прилож. к „Воспоминаниям“ Андрея Мих. Достоевского (Из-во писателей в Ленинграде), 1930, стр. 384—396.

дим высказывания юного „мечтателя“ и вскоре автора „Бедных людей“ (роман написан в 1844 — 1845 гг.), заставляющие определенно думать, что Достоевский в это время уже решил для себя вопрос о крепостном праве и о владении своими крепостными, полученными по наследству после смерти отца.

Он стремился порвать с владением крепостными душами и в силу стесненного материального положения. Практический ум консерватора-опекуна усмотрел в проекте Достоевского уступить свои права на крестьян за 1000 рублей веяния времени и удерживал от этого шага писателя. В письмах Достоевский дал волю своему гневу на такую опеку и после вынужден был оправдывать свои резкости: „Неужели вы, Петр Андреевич, — писал Достоевский в письме к Карепину от 7 сентября 1844 г., — после всего, что было между нами насчет известного пункта, т. е. дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности..., неужели и после этого всего вы будете противиться моим намерениям, ради моей собственной пользы и из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности (разрядка автора. — *Н. Б.*). Если же не эти причины действуют сердцем вашим теперь и запрещают вам помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни, то неужели это одна досада на несколько вырвавшихся с пера моего выражений?“¹

В письме от 19 сентября 1844 г. Достоевский опять резко ставит этот вопрос: „Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших... При том же разоря родительских мужиков не значит поминать их“.²

В социальном мероприятии Достоевского, учитывая умеренность материальных требований и настойчивость его в этом вопросе, нельзя видеть только простую материальную сделку; здесь до известной степени кроется и стремление писателя согласовать свои дела с убеждениями, с верой в необходимость борьбы с социальным злом — крепостничеством, что, повидимому, прочно осознал Достоевский, занятый в то время писанием романа „Бедные люди“. Недаром в последнем письме к Карепину он писал так: „Дело в том, что я вижу в этом (т. е. в освобождении от владения крепостными)

¹ „Воспоминания“ Андрея Мих. Достоевского, 1930, стр. 388 и 389.

² Там же, стр. 391.

свое избавление от неприятностей и возможность устроиться по лучшему, а это для меня чего-нибудь да стоит“. Какие же неприятности особого характера могло доставлять обычное крепостное имение в условиях тогдашнего крепостного права Достоевскому? Очевидно, здесь кроется другое. Достоевский порывает с крепостным владением в силу убеждения в неправоте этого института. И делает это до проповедей неистового Виссариона о социализме и равенстве.

За несколько лет до теоретических споров о крепостном праве у Петрашевского Достоевский практически старался уничтожить его. Достоевский, ознакомившись с социалистами, нашел только более отчетливое выражение слагавшемуся в нем настроению. В речах и сочинениях социалистов всех школ и лагерей повторяется эта мысль об устранении экономического неравенства — „эксплоатации человека человеком“, как основное требование. „Отныне, — писали они, — самый важный прогресс будет состоять в прекращении эксплуатации (человека человеком), в каком бы виде она ни представлялась“.¹

VI

В творчестве Достоевского за 1844—1848 гг. отразился гуманизм социальных утопий. В написанных в те годы Достоевским романах и повестях можно обнаружить ноты протеста против социальной неправды.

У Макара Девушкина прорываются затаенные „либеральные мысли“ о социальном неравенстве, которых он сам боится, и в Пушкинском „Станционном смотрителе“ он видит оправдание своих помыслов о равенстве людей и в частности о равноправии его, Макара Девушкина, с любым „графом“ на Невском проспекте. Правда, критика буржуазного города, высказанная Макаром Девушкиным, робка, приглушена; но в ней отчетливо показан тот гнет, который испытывал этот представитель „Бедных людей“ от нарождающегося капитализма.

Прохарчин (1846 г.), такой же бедняк, как Девушкин, и так же страдающий от неравенства своего положения,

¹ Цит. по статье Г. В. Плеханова „Утопический социализм“, изд. „Мир“, М. 1924, стр. 321.

проявляет себя в повести „вольнодумцем“, сознает в себе возможность протеста: „Ты пойми, пойми только, баран ты, — заявляет Семен Иванович Прохарчин: — я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и не смиренный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец“. В словах бедного, приниженного, как Девушкин, чиновника Голядкина (героя „Двойника“, 1846 г.) не трудно уловить сомнения в пользе и необходимости смирения и покорности — этих основных добродетелей чиновников канцелярий. Перед ним встал вопрос о верхах и низах столичного города и родилось сознание человеческого равенства.

Голядкина упрекает Антон Антонович в вольнодумстве, когда первый указывает на исчезновение патриархальных нравов: „Теперь добродетели падают и гостеприимство уже не ставится в счет“, говорит Голядкин, и на обвинение за это в вольномыслии со стороны Антона Антоновича, Яков Петрович Голядкин упорно отстаивает свое мнение: „Совсем не вольнодумство, Антон Антонович; я бегу вольнодумства“. Любопытно, что этот мотив был только в первой редакции „Двойника“ (написанной в 1845/46 г. и напечатанной в 1846 г. в „Отечественных записках“). А при переработке текста, примерно в середине 1866 г., когда Достоевский „отрезвился“ от либеральных утопий социализма и вел решительную борьбу с лагерем демократизма и нигилизма, он этот мотив удаляет и вычеркивает из текста.

Характерны для Достоевского в эту пору попытки его провести опыты с ассоциациями в узком кругу знакомых. В письме к брату Мих. Мих. Достоевскому 26 ноября 1846 г. он писал: „Бекетовы вылечили меня своим обществом. Наконец я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая и все издержки, по всем частям хозяйства все не превышает 1200 руб. ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации!“ А затем в письме через год 9 сентября 1847 г. он вновь убежденно говорит о преимуществах ассоциации: „Погоди брат, поправимся. А у нас ассоциация. Невозможно, чтобы мы оба не выбились на дорогу; вздор!“... И, указав выход из затруднительного материального положения, сковавшего обоих братьев по рукам и ногам, Ф. М. Достоевский в том же письме в приписке не удержался от того, чтобы еще раз не подчеркнуть потребность совместных

действий, взяв для этого термин опять-таки из области социальных учений: „Видишь ли, что значит ассоциация? Работай мы врозь, упадем, оробеем и обнищаем духом. А двое вместе для одной цели — тут другое дело“.

В эти годы Достоевский переживает большую материальную нужду. В редком письме к брату он не строит планов высвободиться из этих тисков путем издания переводов и своих книг... Но нужда не уменьшалась. Достоевский знал „припадки страшной нужды“ (письмо к брату 9 сентября 1847 г.). Несомненно, наблюдения Достоевского над расслоением капиталистического Петербурга были обострены собственным тяжелым материальным положением. В начале 1847 г. (в январе-феврале) Достоевский писал брату о своих впечатлениях от социального неравенства: „Страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Внешнее должно быть уравновешено с внутренним“. Но как ни старался Достоевский укрыться от ужасов „внешнего“ и уменьшить реакцию на него со стороны внутреннего, все же у него вырывались подлинно вопли и протест против убожества буржуазного мещанства и пошлости: „Начинаешь бояться жизни“, пишет Ф. М. Достоевский брату в том же письме: „счастливы ты, что природа обильно наделила тебя любовью и сильным характером. В тебе есть еще крепкий здравый смысл и блески бриллиантового юмора и веселости. Все это еще спасает тебя. Я много думаю о тебе. Но боже, как много отвратительных подло-ограниченных седобородых мудрецов, знатоков, фарисеев жизни, гордящихся (разрядка автора — Н. Б.) опытностию, т. е. своею безличностью (ибо все в одну мерку сточаны) негодных, которые вечно проповедуют довольство судьбой, веру во что-то, ограничение в жизни и довольство своим местом, не вникнув в сущность слов этих, — довольство, похожее на монастырское истязание и ограничение — и с неистощимо мелкою злостью осуждающих сильную горячую душу невыносящего их пошлого дневного расписания и календаря жизненного! Подлецы они с их водевильным земным счастьем. Подлецы они! Встречаются иногда и бесят мучительно“.

Однако надо указать, что в художественных произведениях, написанных в 40-е годы, и насыщенных глубокой симпатией к пасынкам города, к задавленным нуждою и бесправием людям подвалов и мансард, Достоевский упорно обходит мол-

чанием основные социальные предпосылки, обусловившие тягостное существование „бедных людей“. Достоевский констатирует факты, а не разоблачает строй в целом и основы строя.

Критическое острие было направлено не по линии разрушения самодержавно-политической власти и основ строя. У Достоевского рядом с обличительными мотивами уживается примирение с теми условиями, которые порождают мир подлецов и ханжей, у него сильны были религиозные и мещанские предрассудки, ослаблявшие силу критики. Эта двойственность, сочетание прогрессивных и отсталых моментов, характерна для творчества раннего Достоевского. Причем элементы критики и оппозиционности Достоевского глубоко были запятаны в ткань его повестей и романов.

VII

В фельетонах, писанных в апреле — июне 1847 г. и напечатанных тогда же в „СПетербургских Ведомостях“, Достоевский вскрывает гнетущую атмосферу капиталистического Петербурга. Утверждая отчужденность Петербурга от безбрежной Русской земли, фельетонист рисует картину жизни города, и ему „кажется, что проходим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота да бородатый мужик, которому кажется лучше под дождем, чем под солнцем, да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время, разве только для того, чтобы поместить капитал... Одним словом, не хорошо господа!..“¹

Вопросы о бедноте города, о скуке и тяжести жизни в городе сплетены в фельетоне с вопросами крепостного права, с тяжелым положением крестьян под властью таких филантропов-помещиков, для которых „народ разбойник и вор... все такой, что не стоит совсем филантропии“.

Достоевский показывает, как в условиях капиталистического города расцветает индивидуализм. Дав карикатурное

¹ См. в сб. „Фельетоны сороковых годов“, изд. Academia, Л. 1930, стр. 157, фельетон Ф. М. Достоевского за 11 мая 1847 г.

изображение носителя его, фельетонист резко осуждает индивидуализм: „только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз, его клад, его капитал, его доброе сердце!“¹ — говорит Достоевский. А в следующем фельетоне он показывает, как разбиваются стремления людей к деятельности, как рождается тип „мечтателя“ и в чем социальные истоки этого распространенного явления. Мечтательство в его истолковании — это своеобразный протест людей, желающих честно работать на общую пользу, но не имеющих для этого возможности.

В облике такого деятеля Достоевский отметил черты, чуждые барству и помещику-филантропу. „Жажда деятельности доходит у нас до какого-то лихорадочного неудержимого нетерпения: все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу, и начинают уже мало-по-малу понимать, что счастье не в том, чтобы иметь социальную возможность сидеть сложа руки... а в вечной неутомимой деятельности, и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей“.² Но политический режим и капиталистические условия обрекают честных деятелей на мечтательство, на бездеятельное прозябание: „Многие ли, наконец, нашли свою деятельность? — спрашивает Достоевский. — А иная деятельность требует еще предварительных средств и обеспечения, а к иному делу человек и не склонен, махнул рукой, и смотришь, дело повалилось из рук. Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-по-малу зарождается то, что называется мечтательностью; и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая со всеми неистовыми ужасами, со

¹ См. в сб. „Фельетоны сороковых годов“ изд. Academia, Л. 1930, стр. 132, фельетон Ф. М. Достоевского за 11 мая 1847 г.

² Там же, стр. 175.

всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, и мы говорим это вовсе не в шутку“.¹

Осуждая рабовладельца за тунеядство (за сидение сложа руки), Достоевский осуждает и мечтателя. И это понятно. В основном тенденция фельетонов Достоевского, прорывающаяся в намеках насчет общей пользы, в словах об обобщенных интересах и сочувствии к массам, направлена на борьбу с индивидуализмом. Но все дело в том, что разоблачая индивидуализм и осуждая мечтательство, Достоевский изображает душевную драму только как внутренний поединок. Классовые конфликты психологизируются автором, трагические социальные столкновения изображаются в виде внутренних коллизий. Тем самым Достоевский уводит читателя от борьбы с теми условиями, которые тяготели над „бедными людьми“ и порождали безысходность их положения.

Любопытно, что Достоевский в своем последнем романе „Неточка Незванова“ сделал попытку перенести своего героя из мещанских углов Петербурга, где ютилась беднота, из мира чиновников и надломленных мечтателей в светлые комнаты княжеского дворца и поместить в условия буржуазного комфорта. Неточка, попавшая в эти условия, еще глубже осознает свою рознь с социальным окружением, еще сильнее переживает чувство неравенства и возмущения социальной неправдой.

Но Достоевский не зовет к разрушению этого неравенства и не требует устранения основных причин этого неравенства; беллетрист обращается к нравственному чувству человека.

В фельетонах, как и в романах, при всем критическом отношении к действительности Достоевский не шел дальше требования устранения порочности и „искусственности“ человеческих характеров. Хотя таким средством и был „беспощадный анализ“ у Достоевского, но Белинский справедливо указал на абстрактный характер рассуждений Достоевского о способах улучшения человеческого меньшинства. В статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“ он решительно восстал против этого: „что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа в другой век... Нет ничего легче, как определить, чем

¹ См. в сб. „Фельетоны сороковых годов“ изд. Academia“, Л. 1930, стр. 178, фельетон Ф. М. Достоевского за 11 мая 1847 г.

должен быть человек в нравственном отношении, но нет ничего труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему по теории нравственной философии следовало быть“.

У Достоевского не было такого материалистического понимания, не было у него и прямых выводов относительно отрицания „гнусной действительности“. Он этого не договаривал и не мог возвыситься до раскрытия причин противоречия и до показа стремлений героев изменить „среду“. Недаром Добролюбов и обвинял Достоевского в этом умолчании: „Вы видите человека заеденного, говорит Добролюбов в статье „Забитые люди“, но вам не было ярко и полно представлено, какая сила его ест, почему именно его едят, и зачем он позволяет его есть. На все это вы находите в повестях разве намеки, а никак не полные ответы. Таким образом, исполнение в этих повестях всегда далеко ниже идеи, которая могла бы придать им жизненность“. В „Неточке Незвановой“ Достоевский умолчал о способах и средствах разрушения этого неравенства. Социализм чувства, который разделял Достоевский, апеллировал только к нравственной природе человека и представлял собой воплощение того что Ленин называл в применении к Герцену 40-х годов „буржуазными иллюзиями в социализме“. Этими иллюзиями и проникнуто творчество Достоевского в 40-е годы.

VIII

Одновременно Достоевский все глубже вращался в кружковую жизнь. 1848 г. с его революционными событиями, несомненно, оказал свое воздействие на него, как и на других. П. Н. Филиппов, например, на допросе в Следственной комиссии заявил, что „либеральное направление проявилось в нем весной 1848 г. при чтении французских журналов, после переворотов на Западе“.¹ Влияние революционного взрыва на Западе сказалось как на настроении петрашевцев, так и на расслоении кружков. С осени 1848 г. наблюдается оживление в жизни кружков. Тогда же и составилась, как мы знаем, и кружок Дурова — Плещеева. В литературе существует несколько версий по вопросу о причинах выделения этого кружка.

¹ См. Доклад ген.-аудиториата в сб. „Петрашевцы“ т. III, стр. 195.

Одни вслед за Достоевским склонны видеть причину расхождения в разномыслии этого кружка с Петрашевским только по литературным вопросам.¹ Достоевский в показании своем ссылался на эту разницу во взглядах²; однако доверять вполне показаниям Достоевского, как увидим далее, неосновательно. Достоевский многого не договорил, о многом не сказал того, что знал. Несомненно, вопрос о выделении этой группы из кружка Петрашевского имеет более сложные причины. Сторонники мнения, что Достоевский и Плещеев склонны были якобы к „чистому искусству“, говорят также, что им „наскучили политикой“ пятницы Петрашевского. Но ни тот ни другой не проявили себя сторонниками чистого искусства, наоборот, они стремились к социальной правде, — недаром Белинский и назвал „Бедных людей“ Достоевского „первым социальным романом“. Приведенные выше слова Спешнева о том, какие причины выдвигали в разговоре с ним Достоевский и Плещеев, задумав создать свой кружок, говорят о более серьезных побуждениях и сложных основаниях их действий в этом случае. Знакомство со взглядами членов кружка дает достаточно материала для решения этого вопроса именно в этом смысле. Обычно кружок Дурова исследователи рисуют как „более умеренный“ (по сравнению с кружком Кашкина), как „лишенный стремлений к восстанию, тайной организации, заговору.“³ Если брать критерием революционную готовность к восстанию, то петрашевцы в целом оказываются вне этого. В целом они составляли заговор идей, убеждений, взглядов. С этой точки зрения, учитывая исторические условия их деятельности — эпоху николаевской реакции после разгрома декабристов, надо решать вопрос о степени революционности петрашевцев и участников кружка Дурова. В этом отношении они требуют другой оценки.

Ведь, недаром Достоевский в 1873 г., в эпоху, когда он целиком стал на сторону реакции и вовсе не хотел сомнительной популярности „революционера в прошлом“, на огульные обвинения революционеров со стороны мракобесов печати, заявил: „Почему же вы знаете, что петрашевцы не

¹ См. В. Лейкина „Петрашевцы“, изд. М. 1924, стр. 30 и 31.

² См. далее на стр. 124, 125, 155 и 163.

³ Н. А. Рожков, предисловие к сб. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“. ГИЗ 1926, стр. XV.

могли бы стать нечаевцами, т. е. стать на „нечаевскую“ же дорогу, в случае если бы так обернулось дело? (разрядка автора. — *Н. Б.*). Конечно, тогда и представить нельзя было: как это могло так обернуться дело? (разрядка автора. — *Н. Б.*). Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может быть, и мог бы... во дни моей юности“ („Дневник писателя“, 1873 г.).

Но дело так не обернулось, до революционных выступлений петрашевцы не дошли. Они были захвачены и посажены в крепость раньше, но подъем и рост революционных настроений они явно переживали.

Все это побуждает и дает основания пересмотреть установившийся взгляд на кружок Дурова.

IX

Следственная комиссия не сразу узнала о существовании этого кружка; а узнав, первое время она была введена в заблуждение некоторыми показаниями, которые говорили о начальном моменте в жизни кружка, когда все исчерпывалось литературно-музыкальными вечерами. Комиссия упустила из внимания многое и дала кружку очень поверхностную характеристику. В докладе генерал-аудиториата читаем: „Собрания у литераторов Дурова и Пальма, живших вместе на одной квартире, были немногочисленны и существовали с первых чисел марта до половины апреля (1849 г.) по одному разу в неделю. Они заведены были сначала с целью музыкально-литературной, на складочные деньги по три рубля серебром в месяц; но после четырех или пяти вечеров вместо музыки и чисто литературных статей начали читать статьи в либеральном духе; а именно: коллежский секретарь Милюков прочел свой перевод из *Paroles d'un croyant* (Ламеннэ) под названием „Новое откровение митрополиту Антонию“, подсудимый Достоевский читал переписку Белинского с Гоголем дерзкого и преступного содержания, а подсудимый Дуров — два письма от литератора Плещеева к нему и Достоевскому. Один же из участвовавших, подсудимый студент Филиппов, предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либе-

ральном духе, относящихся до современного состояния России, а для распространения этих статей завести домашнюю типографию, что однако ж не было исполнено“.

„На вечерах Дурова и Пальма, кроме самих их, бывали из подсудимых — Спешнев, Достоевский, Плещеев, Момбелли, Львов, Григорьев, Филиппов и Головинский и другие пять человек их знакомых“. Тут же кратко сообщалось и о том, что „вечера у подсудимого Плещеева были временно, в продолжение зимы 1848—1849 гг; но о вечерах сих ничего особенно замечательного не открыто, кроме того, что однажды был разговор о возможности печатать за границую книги, которые не могут быть пропущены цензурой“. Однако известно из показаний Н. П. Григорьева, друга детства Плещеева, что вечера последнего носили „характер социально-политический и что социалисты завербовали Плещеева в участники“.¹ По свидетельству К. Тимковского, бывшего у Плещеева на двух вечерах в ноябре 1848 г., „у него (т. е. у Плещеева) более всего говорили о социализме“.² На вечерах Плещеева, — показал Спешнев, — „разсуждалось о возможности печатать за границей запрещенные книги“.³

Сам Дуров признал, что на собраниях у него „читались статьи, имевшие по своему содержанию и направлению характер чисто политический“.⁴ Филиппов же показал, „что разговоры на вечерах (Дурова) сначала были литературно-музыкальные, а потом стали принимать политический характер“.⁵

Следственная комиссия мало заинтересовалась взглядами и настроением кружка. В основном же она знала о двух этапах в жизни кружка. За участие в кружке во вторую половину она наказывала несказанно строже; и, наоборот, Плещеев, который „посещал вечера Дурова, когда они не имели еще политического характера“, получил меньшее наказание: 4 года каторги, в то время как другие

¹ В. И. Семевский. „Петрашевцы: Дуров, Пальм“. „Голос минувшего“, 1915, кн. XI, стр. 40.

² Там же, стр. 40.

³ См. „Петрашевцы“ сб. под ред. П. Е. Щеголева, т. III, ГИЗ 1928, стр. 107.

⁴ См. там же, т. III, стр. 92.

⁵ См. там же, т. III, стр. 182.

участники всей деятельности кружка приговорены были к расстрелу.

Более подробные сведения о месте и времени собраний, и не совсем точные сведения о настроениях кружка Дурова, сообщает А. П. Милюков, который был тогда сам членом кружка Дурова.

„Небольшой кружок С. Ф. Дурова... состоял, как узнал я, — вспоминает А. П. Милюков,¹ — из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнением. Это была кучка молодежи более умеренной (чем Петрашевский, который, говорит Милюков, показался не очень симпатичным по резкой парадоксальности взглядов и холодности ко всему русскому). Дуров жил тогда вместе с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховой улице, за Семеновским мостом. В небольшой квартире их собирался уже несколько времени организованный кружок молодежи, военных и статских, и так как хозяева были люди небогатые, а между тем гости сходились каждую неделю и засиживались обыкновенно часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный взнос на чай и ужин и на оплату взятого напрокат рояля. Собирались обыкновенно по пятницам.² Я вошел в этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до самого прекращения вечеров после ареста Петрашевского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем я познакомился у Плещеева и Момбелли, постоянно бывали Николай Александрович Спешнев и Павел Николаевич Филиппов, оба люди образованные и милые“.

Тот же Милюков охарактеризовал и общественно-революционную настроенность кружка. Читая его, надо помнить, что Милюков писал свои воспоминания спустя сорок лет после события, пережив эволюцию вправо. А. П. Милюков в 80-е годы был очень умеренным либералом, и естественно, что свое прошлое пытался представить в эпоху реакции Александра III в тусклом свете, как обыденное событие. Он всячески затушевывал революционные тенденции споров

¹ См. его „Литературные встречи и знакомства“, 1890, стр. 175 и 176.

² У кружка Дурова на самом деле не было определенного дня для собраний. *Ред.*

в кружке, а в отношении Достоевского и вовсе не договаривал того, что ему было известно.

„Что же касается кружка Дурова,— говорит А. П. Милюков,¹ — который я посещал постоянно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что в нем не было чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писанного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом. В кружке получались только и передавались друг другу недозволенные в тогдaшнее время книги революционного и социального содержания, да разговоры большей частью обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занимал нас вопрос об освобождении крестьян, и на вечерах постоянно рассуждали о том, каким путем и когда может он разрешиться. Иные высказывали мнение, что в виду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела, и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти. В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский. Я помню, как однажды, с обычной своей энергией, он читал стихотворение Пушкина „Деревня“. Как теперь, слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенной
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит“.

А. П. Милюков совсем умолчал о том, что некоторые члены кружка Дурова отстаивали именно революционный способ разрешения крестьянского вопроса. На следствии

¹ См. его „Литературные встречи и знакомства“ 1890, стр. 176 и 177.

Филиппов и Григорьев показали, что Головинский предлагал освободить крестьян „без содействия и воли правительства, через восстание их самих“. Спешнев видел в крепостничестве единственно реальный для того времени повод для восстания. Достоевский также склонялся к восстанию, как последнему решительному средству освобождения крестьян. А. И. Пальму помнится, что „когда однажды спор сошел на вопрос: „ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание?“, Достоевский со своей обычной впечатлительностью воскликнул: „так хотя бы через восстание!“¹

В противоположность Милюкову, Ор. Миллер доказывает, что кружок Дурова был более революционно настроен, чем другие группы и их вожди (Петрашевский). „В кружке Дурова,— пишет Ор. Миллер,— были, повидимому, самые пылкие люди, и эта пылкость доводила их до неосторожности, которую вовсе не одобрял Петрашевский. Петрашевский остался даже очень недоволен решимостью дуровцев обзавестись чем-то в роде тайной литографии для печатания и распространения речей и статей, с точки зрения тогдашней цензуры совсем не невинного свойства“.²

Филиппов о собраниях Дурова дал такое показание: „Вообще разговоры на собраниях у Дурова принимали часто либеральное направление, которое и сообщало этим собраниям характер политический; говорили там также, что учителя в учебных заведениях должны стараться читать сколь возможно в либеральном духе.“³

„На вечерах у Дурова,— говорит Ламанский в своем показании,—...входили в разговор предметы иностранной политики, современные отечественные события и другие вопросы из области государственного управления. Под конец заметно было, что посещающие вечера чаще толковали о политике и, наконец, предполагали изучать и распространять для других некоторые предметы“.⁴

¹ Ор. Миллер. „Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского“. Биография, письма и заметки из зап. книжки.... СПб. 1883, стр. 85.

² Там же, стр. 85.

³ См. сб. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, т. III, стр. 194.

⁴ Цит. из статьи В. Семевского „Следствие и суд по делу петрашевцев“, „Русские записки“ 1916, № 10, стр. 40.

Такие настроения в кружке Дурова (в 1848—1849 гг.) вполне понятны, если примем во внимание общественную жизнь того времени.

Опубликованные недавно ежегодные отчеты III отделения рисуют картину постепенно нарастающего чрезвычайного напряжения административной системы, которому соответствовало не меньшей силы политическое напряжение масс. Как свидетельствуют отчеты из года в год, в царствование Николая I крестьянская изба, казарма, каморка разночинца, дворянская гостиная, провинциальный город и обе столицы жили в постоянном ожидании какой-то громадной перемены. Когда в 1848 г., во время наводнения, в Петербурге раздались обычные сигнальные выстрелы из пушек, публика по словам шефа жандармов, была уверена, что началась революция. Вот это-то революционное брожение и подъем и отразили в своих выступлениях многие участники кружка Дурова.

Важно отметить, что они заостряли внимание на основном, узловом вопросе того времени — именно на крестьянском вопросе. Здесь они были более последовательны и наиболее решительны. Головинский был убежден, что „самая высшая несправедливость есть крестьянское состояние, которое не имеет у себя никаких прав“.¹

Головинский спорил с Петрашевским по вопросу о перемене образа правления и возражал Петрашевскому, который выдвигал на первый план судебную реформу и открытое судопроизводство. Напротив, Головинский отстаивал в первую очередь освобождение крестьян; он доказывал, что освобождение крестьян есть важнейший вопрос в России и приводил в пример суд помещика со своим крестьянином и говорил, что „первый имеет права, а другой никаких“.²

Филиппов утверждал, что „если правительство не освободит крестьян, то они сами, доведенные до крайности, потребуют свободы, и потому надо убеждать всех, особенно помещиков, в необходимости этой реформы для общего блага, указывая на те страшные драмы, которые разыгрываются в некоторых имениях над помещиками и за которые однако ж нельзя

¹ См. доклад ген.-аудиториата в сб. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, т. III, ГИЗ 1928, стр. 90.

² Там же, стр. 130.

обвинять доведенных до крайности крестьян. Стало быть, как выразился в заключение Филиппов, они оправдывали бунт. Вообще же всего больше говорили о реформе крестьян. Важность последствий для блага народа отстаивали Головинский, Достоевский и он, Филиппов“.¹

После этого понятно, в ответ на какой запрос Достоевский читал дважды: первый раз у Дурова, а затем на собрании у Петрашевского, знаменитое письмо Белинского к Гоголю, в котором, по определению Ленина, нашло выражение „настроение крепостных крестьян“ против крепостного права.

„Не было причин Достоевскому не восторгаться, — говорит В. И. Семеvский, — вместе с другими письмом Белинского. Резкий протест против крепостного права, требование отмены телесных наказаний, порицание русского суда и расправы он, конечно, мог горячо приветствовать; дифирамбам Гоголя „владыкам“ русского народа он также не мог сочувствовать. Несколько шокировать Достоевского могло резко отрицательное отношение Белинского к религии, но автор письма допускал, что религиозность (а не суеверие) может уживаться с развитием цивилизации и нападал не на религию вообще, а на православную церковь и православное духовенство, поскольку они были „опорою кнута“ и „опорою деспотизма“.“²

Возмущения народных масс крепостническим гнетом, попытки свергнуть его как раз в это время растут. „Случаев неповиновения крестьян в 1848 г., — читаем в отчете III отделения, — было 70, более против 1847 г. 22-мя“.³ Совершенно справедливым является поэтому то, что заявил о петрашевцах Достоевский в „Дневнике писателя“ 1873 г., что они (петрашевцы) верили, что „народ с ними“, т. е. что они выражали настроение и чаяния крепостных. И прибавил: „и имели основание, так как народ был крепостной“.

„В романе своем „Алексей Свободин“ г. Пальм, как он мне говорил, — писал Ор. Миллер, — в лице самого Свободина

¹ Там же, стр. 192 и 193.

² См. его статью „Петрашевцы“, „Голос минувшего“ 1915, ноябрь, стр. 31.

³ См. „Крестьянское движение 1827—1869 гг.“, вып. 1, Соцэкгиз 1931, стр. 85.

воспроизвел некоторые черты молодой поры Ф. М. Достоевского. Тут, во время одного из обычных споров в описываемом в романе кружке одни грудью стояли за гласное судопроизводство, другие видели все спасение в свободе печатного слова, третьи провозглашали выборное начало и т. д. Свободин тихо и медленно сказал: „Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом в нашей великой будущности“.

Пусть даже эти слова принадлежали не Достоевскому, а, например, Головинскому; приписывать их ему есть основания,— они важны для характеристики взглядов этого кружка, расходившихся сильно с Петрашевским и другими по данному важнейшему для того времени социальному вопросу.

В показании Следственной комиссии Достоевский не скрыл, что в среде петрашевцев жило твердое убеждение в законности требований облегчить тяжелую участь крестьян. Споры шли только о способе этого освобождения. С затаенной симпатией Достоевский обрисовывает расхождение взглядов по этому вопросу, с одной стороны, члена кружка Дурова — Головинского, а с другой стороны — Петрашевского. — Головинский „с увлечением говорил, — показывал Достоевский, — что идеею каждого должно быть освобождение крестьян, этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может этого сделать, потому что освободить их без земель нельзя, и что он, Головинский, признает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения; впрочем, он выражал это как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий“.¹

В опровержение Головинского Петрашевский объяснял, что при освобождении крестьян должно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный; что реформа юридическая и цензурная необходимы прежде крестьянской;... но требовать перемены в судопроизводстве не следует, а должно всеподданнейше просить об этом, „потому что правительство,

¹ См. сб. „Петрашевцы“, т. III, ГИЗ 1928, стр. 203.

отказавши.... в просьбе сословию, оно (т. е. правительство) вооружит его против себя, и идея наша идет вперед“.¹

Таким образом в вопросе о крепостном праве кружок Дурова и в том числе его участник Достоевский занимали позицию более решительную, чем Петрашевский. Агент Антонелли донес, что Достоевский при обсуждении вопроса о реформах крестьянской и судебной „соглашался с мнением Головинского“.²

Однако необходимо отметить, что „демократизм“ Достоевского, как и всего тогдашнего прогрессивно-буржуазного движения, не был чужд либерализма. В 40-е годы демократическая тенденция, „опирающаяся на сознательность и самодеятельность не помещичьих, не чиновничьих и не буржуазных кругов“ (Ленин), была еще очень слаба и имела немного сторонников (Белинский). Только в 60-е годы эта тенденция отделяется от либерализма и проявляется как последовательная борьба за крестьянскую революцию, крестьянские интересы против либерализма, дворянства и правительства.

В 40-е годы нет еще этой четкой дифференциации направлений. Оттого и слаба тенденция революционной борьбы с самодержавием. Петрашевцы не ищут опоры в народе; очень немногие из них призывают к свержению господствующего строя. Только те, как Спешнев, Головинский, которые лучше других умели понять и выразить крестьянский протест, становились безоговорочно на революционный путь борьбы. Однако и умеренная часть петрашевцев, как мы знаем, переживала воздействия, связанные с настроением крепостных рабов.

Не выделялся в этом смысле из среды петрашевцев и Достоевский. По словам П. П. Семенова-Тянь-Шанского, которому нельзя отказать в большой доле справедливости, „революционером Достоевский никогда не был и не мог быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувствами негодования и „даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными, что и случилось, например, когда он увидел или узнал, как был прогнан сквозь строй фельд-

¹ См. сб. „Петрашевцы“ т. III, ГИЗ 1923, стр. 203 и 204.

² Там же, стр. 82.

фебель Финляндского полка. Только в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем, о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского и не помышлял¹.

Х

Существенно важно отметить, что именно в крестьянском вопросе Достоевский шел так решительно и далеко. Его „революционность“ связана именно с этой социальной язвой того времени, в остальных вопросах он держался умеренных воззрений. Мысль же о восстании рождалась у Достоевского в пылу страстных споров. В основном же он склонялся к мирным, легальным способам разрешения этого вопроса. Несомненно искренно и не прибегая ко лжи, как средству спасения, Достоевский в показании на следствии заявил: „Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов, насильственно, революционерно, возбуждая желчь и ненависть!“ В том же показании он еще более определенно выразил свою политическую программу: „Для меня никогда ничего не было нелепее идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи. Да, наконец, такое обвинение будет противно всем моим убеждениям, моему „образованию“. Если Спешнев был убежден, что „без революции государство не может быть, и утверждал, что переворот, долженствующий быть в России для улучшения настоящего ее быта, должен быть насильственный“, то Достоевский стоял на иной точке зрения и, как бы отвечая Спешневу, в своем показании писал: „Да и кто у нас думает о республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно, как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета (авторитетом здесь Достоевский называет самодержавие. — *Н. Б.*), да еще более усиленного на то время, а иначе дело должно произойти революционерным образом“...

Социально-политические воззрения Достоевского отличаются в целом противоречивостью и сложностью. Некоторой

¹ См. Мемуары, т. I, „Детство и юность“. Пб., 1917, стр. 204.

новизной для того времени звучит анализ Достоевского современного состояния Запада,—его мысли о революции на Западе и ее закономерности. „На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспрецедентная. Трещит и разрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию... Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастная Франция, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит это теперь?) и которое приведет, наконец, лучшее время?“

Достоевский подчеркивал, что революция 1848 г. для Запада исторически необходимое явление. Такая точка зрения была новостью для того времени; в этом анализе Достоевский поднимался на высокий уровень научной мысли того времени.

Иначе он понимал исторический процесс в России. Над жизнью России, по его мнению, властвуют другие законы. Не замечая противоречия самому себе, Достоевский противопоставляет Россию Западу: „Я, может быть, объясню еще себе революцию западную и историческую необходимость (разрядка автора. — *Н. Б.*) тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, более тысячелетия длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному. У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его; 2) безобразие республики новгородской,—республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве, и, наконец, 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: в первый раз от татар, второй раз в реформу Петра“... Итак, революция на Западе исторически понятна, неизбежна, хотя и тягостно от нее „ноет и ломится надвое несчастная Франция“. В России она невозможна. У России иной путь, иная дорога. Достоевский здесь не говорит о своеобразии экономического пути России. По воспоминаниям же А. П. Милюкова, Достоевский в эти годы видел источник для развития в „жизни и вековом

строе нашего народа... в общине, артели".¹ Некоторые петрашевцы также клали в основу своей теории русскую общину.² Неприложим к русской действительности и социализм: „А фурьеризм, вместе с тем и всякая западная система так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере науки, а с другой — до того порождение Запада... что... у нас, между которыми нет пролетариев, был бы уморительно смешон“.

Не упуская из внимания, что А. П. Милюков в своих воспоминаниях в угоду реакции и в силу утраты радикальных воззрений подкрашивал прошлое, сошлемся на его признания, что Достоевский разделял общие сомнения в применимости социализма к России. „Ф. М. Достоевский читал современных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учения была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами“.³

XI

В современной литературе идут споры о том, был ли утопическим социалистом Достоевский? П. Н. Сакулин в своей работе „Русская литература и социализм“ (1 ч., 2-е изд. 1924, ГИЗ, стр. 379—381) без колебаний зачисляет Достоевского в число последователей утопического социализма и пытается обрисовать сложность восприятия и отношения Достоевского к социализму в 40-е годы.

Ф. Ф. Раскольников выступил с критикой такого мнения („Красная новь“, 1932, апрель, стр. 150—152), ссылаясь на то, что Достоевский был ненавистником революции и никогда не разделял положений утопического социализма. Ф. Ф. Раскольников также ссылался на показания Достоевского, где последний отмечал мирный характер фурьеризма, говорил

¹ См. А. М и л ю к о в „Литературные встречи и знакомства“ СПб. 1890, стр. 180 и 181.

² См., напр., рассуждения В. А. Головинского об общине, как „средстве избавления России от ужасных последствий социализма“; приведены в статье В. И. Семевского „Следствие и суд по делу петрашевцев“, „Русские записки“ 1916, № 10, стр. 32 и 33.

³ См. А. М и л ю к о в, цит. соч., стр. 181.

о вреде фурьеризма, несбыточности и комизме применения его в русских условиях. В этом отзыве Достоевский не был свободен, поскольку писал показания для Следственной комиссии. Врагом революции Достоевский стал позднее. В своем же творчестве 40-х годов он посвятил многие страницы критике существующего строя, хотя его критика, как мы выше сказали, носила робкий характер, не подрывала основ существующего. Но в целом творчество Достоевского было проникнуто общим гуманическим настроением, жалостью и сочувствием к страдающим и обездоленным. Этот неопределенный гуманизм был несомненно усвоен и воспринят Достоевским из знакомства с утопическими социалистами. Эта черта — характерный лейтмотив всех систем утопического социализма.

Основная идея „Бедных людей“ и других произведений Достоевского в эти годы заключалась в доказательстве того положения, что в современных условиях „бедные люди“ обречены на безвыходное существование обездоленных и социально обиженных. Исхода этому писатель не видит. Поскольку Достоевский пробуждал в читателе сочувствие к своим героям, постольку он порождал и ненависть к существующему порядку и обществу. Достоевский в те годы сознательно преследовал эту цель. Так, например, издавая в 1847 г. отдельным изданием „Бедных людей“ он обострял тенденциозность романа, усиливал его социальную заостренность тем, что удалил из текста идиллический рассказ Вареньки о детстве и рассуждения Деушкина о возможности улучшения его положения. Всем этим в тексте нового издания повести был подчеркнут мрачный исход, трагический смысл жизни „бедных людей“.

В утопическом социализме того времени К. Маркс как положительную его сторону отмечал беспощадную критику существовавшего порядка. Правда, эта критика не носила революционного характера. Странники утопического социализма искали мирных средств для разрешения социальных вопросов. Но в условиях революционного подъема критика действительности с позиций утопического социализма была разящим оружием.

Критикой пропитаны и художественное творчество и фельетоны раннего Достоевского. Правда, Достоевский не возматерился до того, чтобы развить до конца и резко обострить

в своих ранних повестях и романах проблемы социального порядка. Его высказывания о социальной неправде, о страданиях бедноты глубоко упрятаны, но все же сквозь слой робких речей, например, Макара Деушкина не трудно прощупать скрытое автором жало критики, разоблачавшей некоторые стороны существующего порядка. Достоевский шел на разрушение „вековой старины“ в образе крепостного права; он сознательно раскрывал язвы капиталистического города; показывал горечь социального неравенства для тех, кто был обречен на это. И объективно эти обличения и эта критика Достоевского были прогрессивны.

Достоевский искренно и глубоко переживал недостатки политического строя. Он критически относился ко многим учреждениям. Он не скрыл от Следственной комиссии, что „говорил о цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей“. Он решился защищать свою критику и доказать, что критика является обязанностью подлинного гражданина: „В том ли проявилось мое вольнодумство, писал Достоевский Следственной комиссии, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать?.. Но меня всегда даже оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная быть обидной правительству, чем быть ему приятною“.

С этими настроениями Достоевского вполне согласуется его письмо к Эд. Ив. Тотлебену 24 марта 1856 г., где он так говорит о себе, о своем участии в деле петрашевцев: „Я был виновен, я сознаю это вполне. Я был уличен в намерении (но не более) действовать против правительства; ...я был осужден законно и справедливо; долгий опыт, тяжелый и мучительный протрезвил меня и во многом переменял мои мысли. Но тогда — тогда я был слеп, верил в теории и утопии... Я знаю, что был осужден за мечты, за теории“.

Достоевский, вопреки обвинениям некоторых современников,¹ был знаком с учением социалистов-утопистов.

¹ В. И. Семевский приводит отзыв Баласогло о литераторах, что „Достоевский и Дуров... не читали ни одной порядочной книги: ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвеция“ (см. в его книге „М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“ часть 1-я, М. 1922, стр. 165).

По признанию Н. П. Григорьева, Достоевский взял на себя „изложение социализма“, когда участники вечеров Дурова „хотели пропагандировать и учить разные отрасли наук политических“¹.

Достоевский явно заимствовал у Фурье теорию человеческого характера, которой и пользовался в своем художественном методе. Ш. Фурье утверждал: что страсти и черты характера в человеке „разумно распределены“ и нарушения этой гармонии производит „социальный механизм“. В „Неточке Незвановой“ мы видим отражение этой теории в изображении характеров героев: „Главным пороком княжны или, лучше сказать, главным началом ее характера, которое неудержимо старалось воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилось в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы—была гордость“. Достоевский склонялся к мысли о чистоте человеческой природы, и приписывал искажения ее условиям жизни, „среде“. В „Неточке Незвановой“ это явственно звучит, например, в рассуждении о чистоте характера героини („всюду видно прекрасное начало, принявшее на время ложную форму“).

Как видим, Достоевский заимствовал не всю теорию Фурье, а только первую часть; вторую же половину (о вредном вмешательстве социального механизма) он отбросил и сводил дело к борьбе человека с „уклоненной“ формой. Конфликт исчерпывался борьбой человеческих чувств. Эта ограниченность характерна для Достоевского и вполне согласуется с тем, что мы выше говорили о двойственности и политической умеренности Достоевского.

Отзыв Достоевского о фурьеризме свидетельствует о том, что он ясно представлял себе сущность этой теории, основные ее черты (политический индифферентизм) и даже осведомлен был о некоторых моментах деятельности вождей этого учения. „Фурьеризм — система мирная; ...в системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа экономическая. Он не посягает ни на правительство, ни на собственность, а в одном из последних заседаний палаты Виктор Консидеран, представитель фурьеристов, торжественно отказался от всякого посягновения на фамилию.

¹ См. сб. „Петрашевцы“, под ред. П. Е. Щеголева, т. III, стр. 108.

Наконец, эта система кабинетная и никогда не будет популярною. Фурьеристы во время всего февральского переворота ни разу не вышли на улицу, а остались в редакции своего журнала, где они проводят свое время уже слишком двадцать лет в мечтах о будущей красоте фаланстеры“. „Но без сомнения, — добавляет Достоевский, — эта система вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система; во-вторых, как ни изящна она, она все-таки утопия самая несбыточная“.

Достоевский не принимал в чистом виде утопического социализма, тем более фурьеризма. Он был чужд философско-материалистических воззрений.

Усваивая социалистические взгляды Белинского, Достоевский отвергал его атеизм. Достоевский был религиозным человеком в 40-е годы. В „Дневнике писателя“ за 1873 г. он правдиво говорит, что для него и для некоторой группы петрашевцев социализм сливался с христианством. „Зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации“. Достоевский был в этом понимании не одинок. Европеус убежден был, что „характер теории Фурье есть религиозный, гармонический, научный и мирный, противоположный всяким насильственным переворотам, революциям и беспорядкам и в своем соприкосновении с действительностью требующий добровольного опыта, который должен быть произведен в какой бы то ни было стране с дозволения правительства“.¹

По мнению Дебу 1-го, активного члена кружка Кашкина, фурьеризм обеспечивал классовый мир и примирял религию с социализмом. Он заявил, что теория Фурье „не включает в себе ничего вредного для общества; напротив, она мирит людей всех классов и состояний, поддерживает религиозные чувства и побуждает к сохранению порядка, выкидывая все пагубные результаты насильственных переворотов“.²

Еще более характерное показание дал С. Ф. Дуров. Он показал, что когда на собраниях Петрашевского говорили о системах Фурье и Прудона и об устройстве фаланстеров

¹ См. Доклад генерал-аудиториата в сб. „Петрашевцы“ т. III, 1923, стр. 172 и 173.

² Там же, стр. 100.

в России, то „он (Дуров) сказал, что их в настоящее время нигде нельзя устроить, что для этого нужно, по крайней мере, еще 2 года и не иначе, как с согласия всех правительств“.¹

Итак, отношение Достоевского к социализму было сложным и отличным от восприятия его Белинским в те годы. Если революционный разночинец последовательно доходил до атеизма, то Достоевский толковал социализм как своеобразный вид христианства. Подобно другим петрашевцам, он сливал социализм с религией. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что не утопия поднимала Достоевского до осознания необходимости революционных действий, а реальный ход классовой борьбы того времени — настроение крепостных крестьян и их протесты против кабалы помещиков. У Достоевского был разрыв между политическими его взглядами и верой в „авторитет“ (т. е. самодержавие), с одной стороны, и убеждением в необходимости покончить с крепостничеством, как грубой эксплуатацией человека человеком — с другой. Это убеждение было сильно, глубоко воздействовало на писателя. От этой искры демократизма он загорался и провозглашал крестьянский бунт. „В минуты таких порывов, — говорит П. П. Семенов-Тянь-Шанский, — Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем“.

И в то же время Достоевский был „мирным мечтателем“. Он вполне прав, говоря о себе так: „Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма... Политического социализма тогда еще не существовало в Европе... тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете“. („Дневник пис.“ 1873, „Одна из современных фальшей“).

Словом, Достоевский в числе многих других разделял те настроения, которые характерны для мечтателей о социализме без борьбы, которых Ленин в статье „Фр. Энгельс“ (1895 г.) связывал с эпохой 40-х годов и характеризовал так: в 40-е годы „было много мечтателей, подчас гениальных, думавших, что нужно только убедить правителей и господствующие классы в несправедливости современного общест-

¹ См. сб. „Петрашевцы“, т. III, стр. 181.

венного порядка, и тогда легко водворить на земле мир и всеобщее благополучие. Они мечтали о социализме без борьбы“.¹

Достоевский принадлежал к плеяде таких сторонников социализма без борьбы и горел желанием просвещать массы. Этим настроением он увлекает и заражает других. Известно, что он распропагандировал Григорьева, и последний на допросе сознался, что „либеральное или социальное направление он узнал со времени знакомства с Достоевским, Дуровым и его кружком“.² Достоевский взял на себя „изложение социализма“, когда члены кружка Дурова решили „пропагандировать и учить разные отрасли наук политических“.³ А. Н. Майков и другие современники свидетельствуют, что Достоевский в это время (1849 г.) был охвачен порывом к просветительству и пропаганде социализма. Головинский, например, показал, что „в бытность его в первый раз у Дурова он слышал разговор Достоевского, что... должно действовать на общество не желчью и насмешками, а показанием собственных недостатков“.⁴

Эти свидетельства о повышенном общественном настроении Достоевского легко увязываются с фактом сближения его с революционно-настроенным Н. А. Спешневым. Недавно опубликованные материалы (напр., письмо А. Майкова к Висковатову) позволяют в данное время говорить о сближении их лишь на почве стремления к пропаганде социализма посредством типографии. Была ли какая другая „тайная скрытая цель“ в этом временном союзе — судить трудно; равно как и нет достаточно данных для того, чтобы говорить о более глубоком идейном влиянии Спешнева на Достоевского.

В какой-то мере Спешнев оказывал влияние на Достоевского. Красочное сравнение А. Н. Майкова его с Сократом говорит о том, что Достоевский убежденно вербовал себе сторонников. А для этого ему, несомненно, надо было быть охваченным мыслью о предстоящей деятельности, план которой мог быть выработан Спешневым. Увлеченный проектом, он склонял и Майкова к тому же. В личном, биографическом плане воздействие Спешнева на писателя было тягостным

¹ См. соч. Ленина т. I, 3-е изд., стр. 410.

² См. „Петрашевцы“, т. III, стр. 110.

³ Там же, стр. 108.

⁴ Там же, стр. 143.

для последнего. По свидетельству доктора Яновского, знакомство это сделало Достоевского, „каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираяться к самым ничтожным мелочам“. По образному выражению П. Н. Сакулина, „Мефистофель-Спешнев не столько, повидимому, революционировал Достоевского, сколько удручал“.¹ Но тот же исследователь утверждает, что временами Достоевский загорался и от Спешнева. Атмосфера кружков также оказывала свое действие. Возможность же колебаний в настроениях Достоевского, возможность быстрой смены настроений от пламенной стремительности к охлаждению, от горячей мечты к холодному анализу — все это легко уживалось в психологии Достоевского, как человека, каким он рисуется в воспоминаниях современников в своих практических действиях. Однако в основном Достоевский явно переживал подъем в своем настроении, связанный с обострением социально-политических отношений в стране и революционными сдвигами на Западе, в которых русская молодежь 40-х годов нашла отражение своих демократических и либеральных чаяний.

В таком повышенном настроении Достоевский был арестован, и один из немногих петрашевцев оказался стойким. Он упорно и последовательно отстаивал себя и даже пытался защитить то дело, которое привело его в каземат крепости.

XII

Достоевский в своих показаниях о многом умолчал вовсе, о многом недосказал того, что ему было известно как участнику. Поэтому его показания требуют дополнений и коррек-

¹ См. его книгу „Русская литература и социализм“ М. 1924, стр. 375. По словам Яновского, Достоевский взял у Спешнева 500 руб. в долг и переживал зависимость от кредитора: „Понимаете ли вы, — говорил он тому же мемуаристу, — что у меня с этого времени есть свой Мефистофель“. Нестойчивое настроение и болезненность, на которую писатель жалуется, напр., в письме к Тотлебену 24 марта 1856 г., могли здесь оказать свое влияние „перед тем (т. е. перед арестом и судом) я был два года сряду болен болезнью странною, нравственною. Я впал в ипохондрию. Было время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитаю болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты“...

тивов. В них нет неверных, ошибочных сообщений, но в них многого недостает. В показаниях Достоевский говорит наполовину.

Возьмем для примера показание его о кружке Дурова. Впервые, Достоевский, до тех пор, пока его прямо не спросила Следственная комиссия, узнавшая о кружке лишь в июне, ни словом не обмолвился о существовании своего кружка. Во-вторых, он упорно твердил одно о деятельности этого кружка: он был литературно-музыкальный и только. Сопоставим его показания хотя бы с показаниями о кружке Дурова Григорьева. „Вечера у Дурова,— показал Григорьев,— имели прежде характер музыкально-литературный, а потом приняли направление политических толков и намерений и хотели пропагандировать и учить разные отрасли наук политических“.¹ О своем участии в кружке Дурова Достоевский также говорит крайне сдержанно, взвешивая каждое слово.

Умолчал Достоевский о спорах вокруг трех реформ: крестьянской, судебной и цензурной, происходивших у Петрашевского. Достоевский кратко отметил этот факт: „Потом я лично был... когда говорилось о вопросах крестьянском, цензурном и судебном“ — вот и все.

Достоевский показал, что „еще был спор о чиновниках“. Если расшифровать эту краткую запись, то на самом деле окажется, что речь шла не о чиновниках, а о революции и пропаганде революционных идей среди чиновников и служащих, с слоями которых многие петрашевцы были связаны... Следственной комиссии уже было известно выражение Дурова о „борьбе со злом в самом его начале, т. е. в законе и государе“, но Достоевский вовсе умолчал об этом.

Достоевский уменьшил степень своей близости с Петрашевским и другими и размер своего участия в кружках. Он умолчал, что распропагандировал Головинского.

Достоевский явно не сказал правды о письме Белинского к Гоголю, — напротив, он решил представить все дело незначительным. Письмо Белинского он прочел из-за того, что это „литературный памятник, не лишенный некоторых литературных достоинств“.

¹ См. „Петрашевцы“ т. III, стр. 108.

По содержанию письмо, якобы, столь бедно, что „никого не может привести в соблазн“. В литературе уже были указания на эту мистификацию Достоевского.¹ Он преуменьшил свой интерес к социальным проблемам и совсем уклонился вначале от изложения своего мнения на вопрос о крепостном праве во время спора Головинского с Петрашевским. Ответ звучит наивной простотой, а лапидарность изложения скрывает истинное отношение самого Достоевского к этому важнейшему спору: „Помню, что Петрашевский опровергал Головинского. Ответа Головинского ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть, я был развлечен в эту минуту посторонним разговором. Не припоминая совершенно, как было дело, я не могу отвечать ясно на этот вопрос, а потому принужден оставить его без ответа“. Нам теперь очевидно, что Достоевский явно уклонялся от прямого ответа. Ведь ему, разделявшему мнение Головинского, безусловно ясна и понятна была суть этого спора. Он, без сомнения, прекрасно знал обе точки зрения. Приблизительно так же Достоевский ответил на вопрос комиссии о выступлении Головинского по поводу перемены правительства. Но Достоевский, явно нарушая свой метод показаний, не боялся подчеркнуть при всяком удобном случае интерес в кружках к крепостному праву и значение вопроса о крестьянах, волновавшего петрашевцев.

Достоевский сделал попытку выгородить Головинского, когда последний сам показал о своих выступлениях относительно перемены правительства и о крестьянском бунте. Достоевский сначала отвел возможность разговора со стороны Головинского относительно крестьянского восстания, вычислив по времени, что этого не могло быть. А затем очень осторожно и хитроумно доказывал, что он припомнил, как однажды в личной беседе с Достоевским Головинский выдвигал какую-то финансовую меру для вознаграждения помещиков за крестьян. Из этого воспоминания он сделал вывод о том, что Головинский „не желает революционного и всякого насильственного образа действий, он только занят сильно крестьянским вопросом“.

¹ См. в работе С. Ашевского „Белинский в воспоминаниях современников“, СПб. 1911, стр. 191 и 192.

Такую же защиту провел Достоевский и по отношению к Петрашевскому. По мнению Г. И. Чулкова, Достоевский умышленно „нарисовал психологический портрет Петрашевского (в своих показаниях), стараясь убедить судей, что этот российский фурьерист нисколько не опасен, а лишь смешон с государственной точки зрения. И тем не менее в этой его косвенной и попутной оценке фурьеризма нельзя не усмотреть его собственной симпатии к утопическому социализму, хотя он старается изобразить в глазах следователей и судей это учение полузабытым и всеми осмеянным“.¹

Следственная комиссия иногда ловила Достоевского на неполноте показаний. Так, например, он вынужден был признаться, что он сначала умолчал об обеде у Спешнева и должен был после дополнительного запроса Комиссии рассказать об этом факте.

Такие показания Достоевского производят странное впечатление. Из подсудимого он переходит на роль защитника своих товарищей перед Следственной комиссией и притом в вопросах чрезвычайно серьезных, таких, как перемена правительства, утверждение диктатуры новой власти и восстание крестьян. Эта странность будет понятна, если признаем, что Достоевский не был сломлен арестом и рavelином. Он капитулировал перед реакцией позднее, уже на каторге. Вот еще доводы в пользу этого.

Достоевский в предварительном своем показании пытался говорить со Следственной комиссией голосом убеждения, с гордо поднятой головой: „Но в чем обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и пр. Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой возбуждена во мне любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитет?“ Достоевский хочет убедить Комиссию в правоте своего интереса к западной революции и смело развивает мысль об исторической необходимости революции и об обусловленности пристального внимания и интереса к революции и социальной жизни: „На Западе происходит зрелище странное, разыгрывается драма

¹ См. „Каторга и ссылка“, 1929, № 2 (51), стр. 32.

безпримерная... Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих! И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, потрясти душу? Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую. Такое зрелище — урок. Это, наконец, история — наука будущего“. Достоевский рискнул взять под защиту и звание писателя. „Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя, уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как-будто на какого то естественного врага правительству“. И, наконец, разве не смелый шаг со стороны преступника, заключенного в Алексеевский каземат, защита натуральной школы, заявление о том, что строгость цензуры чрезмерна, что запрещается „повесть или роман потому, что слишком печально кончается, что выставлена слишком мрачная картина“.

Квалификация Следственной комиссией Достоевского как „одного из важнейших“ не случайна. Понятен и отзыв о нем члена комиссии ген. Я. И. Ростовцева: „Умный, независимый, хитрый, упрямый“...

XIII

Достоевского арест и крепость не сломили... Но вполне естественно, что и он переживал там тяжелые минуты. В письме к Марье Дм. Исаевой 4 июня 1855 г. из Семипалатинска Достоевский, выйдя с каторги, писал: „Если бы вы знали до какой степени осиротел я здесь один! Правда, это время похоже на то, как меня в первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого“. В мрачном царстве Набокова, — как называл крепость Д. Ахшарумов, — первое время был установлен тяжелый режим для всех арестованных, и только под конец даны были послабления: арестованным разрешалось покупать на свои деньги фрукты, табак, вино (см. стр. 225—229).

В марте 1874 г., сидя на гауптвахте на Сенной площади за редакторский промах по „Гражданину“, Достоевский в беседе с Вс. С. Соловьевым припомнил первые дни пребывания в 1849 г. в рavelине: „Когда я очутился в крепости,

я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и вдруг совсем успокоился. Ведь, я там что делал?.. Я писал „Маленького героя“—прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом, чем дальше, тем было лучше.“¹ Нам кажется вполне естественным понять эти слова Достоевского о настроении в каземате в том смысле, что одиночество не устрасило этого мечтателя, романтика. Создавшийся еще ранее, во время пребывания на свободе писателя, разрыв с официальной реакцией ослабил удар по писателю. Его повышенная бодрость помогла сохранить свой душевный мир и не погнуться под ударами. Рост крестьянских волнений в стране и революционные события на Западе пробудили петрашевцев и, в частности, Достоевского. В силу этого Достоевский и вынес твердо испытание. В письме к Эд. Ив. Тотлебену 24 марта 1854 г. он справедливо сказал о себе: „Когда я отправился в Сибирь, у меня, по крайней мере, оставалось одно утешение, что я вел себя перед судом честно, не сваливая своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. Но я поверил себе, я не сознавался во всем и за это наказан был строже“. Далек не все петрашевцы устояли, как Достоевский. Многие из них проявили слабость, калялись перед Комиссией и падали на колени перед царем. Ахшарумов, Ястржембский, Львов и др. оказались в этом числе. Достоевский оказался в другом ряду, о котором Липранди, повидимому, близко к истине, тогда же писал в своей записке: „В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путем литературы и даже самого училищного преподавания. Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения“.²

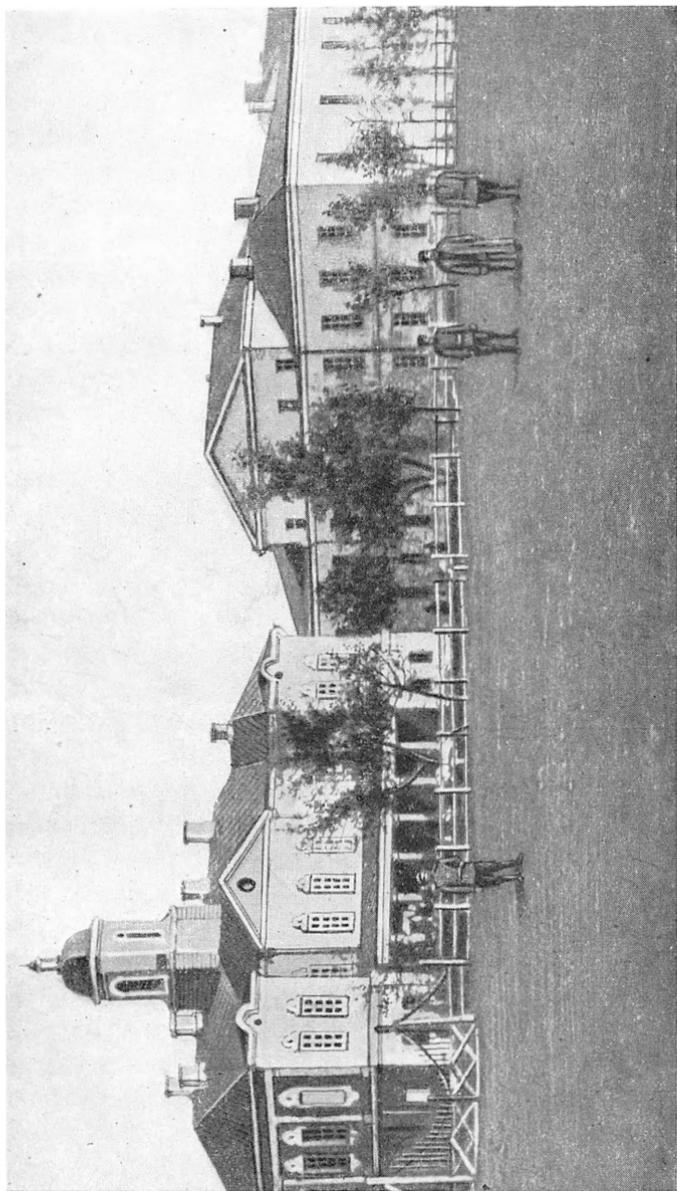
¹ См. „Исторический вестник“ 1881, кн. III, стр. 615.

² См. в сб. „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 16.

Не самообольщение, а пафос борьбы против феодально-крепостнического уклада внушал многим из петрашевцев и, в частности, Достоевскому стойкость и убежденность в своей правоте. Об этом Достоевский не побоялся признаться и позднее, в годы союза с реакцией и Победоносцевым: „Мы, петрашевцы,— писал он в „Дневнике писателя“ 1873 г.,— стояли на эшафоте и выслушали наш приговор без малейшего раскаяния. (Разрядка наша.— *Н. Б.*) Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас сочло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной природы, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли, по крайней мере, десять ужасных безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще, жизнь,— может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те понятия, которые владели нашим духом,— представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго“.¹

Пережив инсценировку казни 23 декабря 1849 г., Достоевский „был ужасно счастлив в этот день, он не запомнит другого такого дня. Он ходил по своему каземату и все пел, громко пел, так он был рад дарованной жизни“, как он рассказывал А. Г. Достоевской в первый день знакомства с ней

¹ „Одна из современных фальшей“— Дневник писателя 1873 г.— Полн. собр. соч., т. XIX, изд. „Просвещения“, стр. 308.



ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ
(Военное собрание и гауптвахта)

в 1866 г. Достоевский вместе с Дуровым и Ястржембским 24 декабря был отправлен в Сибирь на каторгу... в кандалах... 4 года Достоевский пробыл в Омской крепости...

XV

Что случилось с Достоевским в 60-е годы? Отошел он от идей 40-х годов? Есть ли разрыв между 40 и 60-ми годами в его идейно-политических взглядах или только эволюция, обусловленная изменением социально-исторической обстановки?

Ответы на этот вопрос имеются в литературе о Достоевском различные. По мнению Ор. Миллера, Достоевский 40-х годов ничем не отличается от Достоевского 60—70-х годов. Для доказательства этого Ор. Миллер находит „зачатки славянофильства“ у раннего Достоевского и расценивает „Белые ночи“ и „Бесы“ как произведения, проникнутые одним замыслом.¹ В. В. Розанов также не видит никаких „переломов“ во взглядах Достоевского. Писатель, по мнению этого мракобеса, расширял с годами свой „духовный опыт“, но пребывал постоянно в почтительном и добром расположении к „исторически сложившейся власти“.² В. Ф. Переверзев утверждает, что творчество Достоевского „определилось до каторги“ и что в его творчестве замечен только „непрерывный рост без всяких скачков и переломов“.³

Все эти суждения понятны, как результат ошибочных исходных положений. Только невнимательный исследователь может не придавать значения огромному сдвигу в области социально-политических отношений, происшедших в стране в 60-е годы и изменивших отношение Достоевского к многим основным явлениям жизни и движущим силам исторического процесса.

Достоевский не был революционером в 40-е годы, не был он и последовательным демократом в те годы; он был тогда

¹ Подр. см. „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского“, 1883, стр. 92 и 75.

² См. в предисловии к соч. Ф. М. Достоевского, изд. А. Ф. Маркса, 18 5, т. I, стр. XV.

³ „Творчество Достоевского“ изд. 3-е, 1928, стр. 118 и 119.

всего лишь вольнодумец, „мечтатель“, либерал и убежденный противник крепостничества, строгостей цензуры, он поднимался до критического изображения некоторых отталкивающих явлений дореформенного строя. Проблески революционного настроения в вопросе об освобождении крестьян у Достоевского тогда были. На эти „проблески стремления к революционной борьбе“ указывает и А. В. Луначарский. Но необходимости революции в России Достоевский ни в какой мере не признавал и в 40-е и 60-е годы, он был предан самодержавию, „авторитету“. Не к социализму, не к революции, а к устранению вопиющего зла, т. е. крепостного права и смягчению цензуры, только и звал Достоевский при условии сохранения существующего порядка в 40-е годы.

Что же стало в 60-е годы? Крепостное право отменено, цензура в силу нарастания революционной ситуации в стране ослабела, и в начале 60-х годов она мало походила на самое себя в 40-е годы. Все это и составляло предмет чаяний Достоевского.

У Достоевского мы не найдем в 60-е годы целостной социологической концепции, но достаточно показать его отношение к слагавшемуся тогда строю, и из этого легко убедиться в том, что Достоевский стоял всецело на стороне господствующих классов. Сошлемся для доказательства на суждение Достоевского о положении крестьянства в 60-е годы. Это суждение относится к 1862 г., к моменту, когда особенно горячо дебатировался этот вопрос в русской прессе. „Народ наш беден и голодает вовсе не от того, чтоб у него было мало средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработки недурные, по недостатку рабочих рук. Народ от того беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии“.¹

Из этих слов видно, что пресловутое „освобождение“ крестьян стало осуществлением социальной программы и чаяний Достоевского-петрашевца. Достоевский подчинился ре-

¹ См. статью „Два лагеря теоретиков“ — „Время“ 1862 г.; цитируем по изд. „Просвещение“, т. XIX, стр. 153.

акционнно-правительственной идеологии, ибо не сумел приблизиться и опереться на крестьянскую демократию, которая внушала революционные настроения своим последователям. Он еще в 40-е годы искал средств, при помощи которых осуществились бы его мечты о преобразовании жизни, — и не находил их. Но искал он этих средств в неправильном направлении, примыкая к либеральному крылу петрашевцев. Достоевский отмечал жажду деятельности в общественной среде и указывал на необеспеченность средств для осуществления этой деятельности (см. выше, стр. 28 и 29). По этой же причине Достоевский не мог указать путей для облегчения положения бедных людей. Слабые стороны его беллетристики (см. выше, стр. 42) — психологизм, уход в мечтательство — все это результат того, что писатель не верил в силы современного общества, он отчаялся найти носителя силы для изменения существовавших отношений. Жалея бедных людей, глубоко скорбя по поводу их положения, писатель не мог указать тех средств, которые изменили бы судьбу угнетенных и обездоленных людей. Но Достоевский, потерпев крушение, долго и упорно размышлял на каторге по этому вопросу. Цитированное выше (на стр. 43) письмо его к Эд. Ив. Тотлебену от 24 марта 1856 г. свидетельствует не только о том, что Достоевский отрезвился от юношеских мечтаний, но и о том, что перемена взглядов далась в итоге длительных и серьезных раздумий: „долгий опыт, тяжелый и мучительный отрезвил меня, — пишет здесь Достоевский, — ... и во многом переменил мои взгляды, но тогда (т. е. в 40-е годы), — тогда я был слеп, верил в теории и утопии... каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противную сторону, — страдать за прежние убеждения, которых неосновательность я уже сам вижу“. Вернувшись с каторги, Достоевский решил идти на примирение с существующим строем, а позднее и вовсе связать свою судьбу с реакцией. Принадлежность к либеральной струе петрашевцев обеспечила переход ему на сторону правительства, особенно в обстановке после реформ 60-х годов.

К Достоевскому вполне приложимы слова М. Н. Покровского о петрашевцах: „реформы 60-х годов осуществили три четверти их платформы“.¹ Известно, в чьих интересах — помещиков или крестьян — совершены были эти „реформы“.

Вот почему в 60-е годы Достоевский противопоставил революционному движению в стране и выступает против носителей революционно-демократической тенденции, опирающейся на крестьянство.

Участник движения петрашевцев, стремившихся устранить феодальные оковы жизни, Достоевский принял участие в 40-е годы в этой борьбе за искоренение феодальных сторон в общественных отношениях, за изменение казарменной атмосферы в литературно-общественной жизни и за раскрепощение крепостных рабов, облекая либерально-буржуазное ядро своих убеждений дымкой романтической и социально-утопической мечты об уничтожении „эксплуатации человека человеком“. В 60-е годы эти задачи, по мнению Достоевского, были разрешены ходом исторической жизни и тем самым устранялись причины для его оппозиционно-либерального отношения к действительности.

Дальнейшая эволюция социально-политических взглядов Достоевского в 70-е годы шла в направлении признания и защиты писателем программы официально-правительственных кругов.

Рост революционного движения в России и Европе, события Парижской Коммуны, распространение революционных идей в русском обществе и нажим реакции ускорили переход Достоевского с конца 60-х годов в ряды идеологов укрепления самодержавия и подавления революции.

Создание злобного, антиреволюционного романа „Бесы“ (1870—1871), сближение по возвращении из-за границы с царским двором и петербургской знатью, дружба со столпами реакции — с мракобесом К. Победоносцевым, М. Катковым, усиленная деятельность по изданию „Дневника писателя“ (1873, 1876—1880), в котором начертан образ „монарха, верившего в свои силы и свое право“, и роман „Братья Карамазовы“ (1878—1879), в котором писатель трактовал вопросы внутренней политики самодержавной России с точки зрения победоносцевско-катковской теории о „сильной власти“ — таковы основные этапы политического отступничества Достоевского в последние годы жизни.

¹ См. „Царизм и революция“, изд. „Пролетарий“ 1926, стр. 52.

Публикуемые в этой книге материалы рисуют участие Ф. М. Достоевского в кружке петрашевцев и роль его в судебном процессе по этому делу. Расположены материалы в порядке их возникновения в связи с ходом судебного-следственного процесса о петрашевцах.

Достоевский в положении подсудимого давно интересовал исследователей. Но огромный по размерам процесс петрашевцев издан до сих пор частично, в очень небольшой части (разумею сборник „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, и „Петрашевцы“ сб. материалов под ред. П. Е. Щеголева, М., ГИЗ., 1928), также и показания Достоевского были опубликованы далеко не все и притом в далеко неточном виде. Первое показание („Объяснение“) было напечатано в малодоступном журнале „Космополис“ 1898, кн. IX; затем перепечатано в сб. „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина. Из-за этого показания произошло неприятное столкновение А. Г. Достоевской с австрийской писательницей Гофман (подр. см. далее на стр. 189—191), также опубликовавшей это показание в заграничной печати.

Кроме этого „Объяснения“, т. е. неформального показания, данного Достоевским, видимо, непосредственно после заключения в крепость и после первых неформальных расспросов в Комиссии, в следственном деле имеются отдельные, последовательно отбираемые Следственной комиссией формальные показания, по определенным вопросам, задаваемым Комиссией. Последняя об этом в заседании 31 мая 1849 г. так решила: „За сим приступлено было к рассмотрению составленных канцеляриею выборок о каждом обвиняемом (из донесений Антонелли и двух других агентов, собственных показаний обвиняемых и найденных документов) и положено по мере

заготовления этих выборок, делать формальные допросы обвиняемым, по составленным в Комиссии вопросам пунктам, начав их в завтрашнее заседание 1-го июня“ (Дело Аудитор. департамента военного минист. 1 стола, 4 отделения, 1849, № 55, часть 4, л. 111).

Из дела Аудиториатского департамента военного министерства 4 отд. 1 стола 1849 г. № 55 (подр. о нем далее) видно, что Ф. М. Достоевский был допрошен не раз: 6 мая 1849 г. (журнал № 12, л. 43) ему даны были предварительные вопросы; 8 июня 1849 г. (журнал № 40, л. 125) — формальный допрос. 11 июня 1849 г. (журнал № 44, л. 130 об.) — формальный допрос; 17 июня 1849 г. (журнал № 51, л. 145) — дополнительный допрос; 20 июня 1849 г. (журнал № 53, л. 149) — дополнительный допрос.

Эти последние допросы приведены были цитатами в статьях В. И. Семеvского о петрашевцах и суде над ними. („Голос минувшего“ 1915 г., № 4—12, и „Русские записки“ 1916 г., № 9—10).

Показания находятся в деле Аудиториатского департамента военного министерства 4 отделения 1 стола, 1849 г., № 55 в части 26, озаглавленной: „Следственное дело об отставном инженер-поручике Достоевском“ (на 130 л.). „Дело“ состоит из следующих документов: 1) лл. 1—8 — „Объяснение Достоевского“; 2) лл. 9—24 — Копия с „Объяснения“, которым было трудно пользоваться из-за почерка Достоевского; 3) л. 37 — Копия сообщения председателя Комиссии о рассмотрении бумаг Достоевского; 4) лл. 39—43 — Препроводительное отношение председателя Комиссии и указ об отставке Достоевского; 5) лл. 45—56 — заняты „Сводкой по делу“, состоящей из а) Донесения П. Д. Антонелли; б) Показания свидетелей; в) Показания обвиняемого и г) Отметки. (Последняя графа пустая); 6) лл. 57—58 — Официальный допрос (Предварительные вопросы); 7) лл. 59—118 — Отдельные показания; 8) лл. 119—129 — „Выписка из дела об отставном инженер-поручике Федоре Достоевском“. На обороте последнего листа помета: „В сем деле номерованных и скрепленных сто тридцать листов. Делопроизводитель статский советник Шмаков“. Лл. 35, 36, 38, 43, 44, 55, 56, 75, 84, 86, 91—94, 101—102, 105, 106, 113—118, 130 — чистые. Дело в целом состоит из 136 частей;

перечень их названий приведен в изд. „Петрашевцы“ сб. материалов, т. III, под ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1928, стр. 365—372. Кроме того, во второй части того же дела имеется ряд материалов, освещающих частные моменты участия Достоевского в этом процессе. Затем в делах других привлеченных к делу петрашевцев имеются показания Достоевского по отдельным вопросам (напр., в деле об Ап. Майкове, о Милюкове и др.). Все эти показания также извлечены из дел и печатаются здесь после показаний Достоевского.

Показания были опубликованы нами частично в ж. „Красн. Архив“, 1931, т. 2 (45), стр. 130—146 и т. 3 (46), стр. 160—178.

Текст показаний Достоевского печатаем по новой орфографии, воспроизводя в тех документах, которые Достоевский писал набело, и все следы переделок им текста; в целом эти поправки обрисовывают нелегкий для Достоевского процесс написания своих показаний, отличающихся осторожностью в формулировке выражений.

Для этого издания использовано нами еще дело III отделения с. е. и. в. канцелярии (1 эксп. 1849, № 214, часть 13), откуда мы взяли несколько специальных документов (приказ об аресте Достоевского, отношение III отделения на имя А. А. Краевского по поводу печатавшейся третьей части „Неточки Незвановой“ и др.).

Так же включены в это издание документы из дела Алексеевского равелина С.-Петербургской крепости 1849 г., № 35, дающие представление об условиях жизни Достоевского в каземате, об его имуществе, как заключенного в рavelине, о расходах во время пребывания в крепости и донесение об отправке Достоевского в Сибирь.

В общей совокупности документы освещают все стадии судебного процесса — от ареста до заключения генерал-аудиториата, а также и вывоз в кандалах Достоевского вместе с Дуровым и Ястржембским.

Со стороны происхождения материалы связаны с деятельностью трех учреждений того времени. Материалы, рисующие начальную стадию процесса, взяты из дела III отделения с. е. и. в. канцелярии; затем идут материалы из делопроизводства Секретной следственной комиссии и, наконец, Военно-Судной комиссии и генерал-аудиториата.

В качестве приложения мы печатаем заметку о пребывании Достоевского в крепости, письмо его брату Михаилу в день казни и заметку об отзывах дела Петрашевского в личной биографии писателя спустя почти 20 лет.

При воспроизведении текста документов редактор держался следующих правил: все слова и пояснения, вносимые редактором в текст документов, даются курсивом и в прямых скобках, все места, зачеркнутые автором, воспроизводятся в прямых скобках, но тем же шрифтом; заголовки документов, введенные редактором, отмечаются звездочкой.

Выражаем признательность за полезные указания В. Я. Кирпотину и Ю. Г. Оксману.

**СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

№ экспедиции

№ 214



А Р Х И В Ъ

III^{го} ОТДѢЛЕНІЯ

СОБСТВЕННОЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КАНЦЕЛЯРІИ

*По разсказамъ Анны и донесеніямъ
Антониды, и Сумицкой-Пестряковъ
срочкѣ и по отвѣщеніямъ*

за № 13.

Отъ инспектора Поруцкаго Олуга Достоевскаго

1849 года.

СНИМОК С ОБЛОЖКИ ДЕЛА III ОТДЕЛЕНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ
(Хранится в Архиве революции в Москве)

*** СЕКРЕТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ОБ АРЕСТЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО¹**

III ОТДЕЛЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРИИ
I ЭКСПЕДИЦИИ
С. ПЕТЕРБУРГ
22 АПРЕЛЯ 1849 ГОДА
№ 675

Секретно

Г-ну Майору С. Петербургского и
жандармского дивизиона Чудинову

По высочайшему повелению, предписываю вашему высокоблагородию, завтра в 4 часа по полуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, в доме Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бремера, опечатать все его бумаги и книги и оные, вместе с Достоевским, доставить в III отделение собственной его императорского величества канцелярии. При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто.

Случиться может, что вы найдете у Достоевского большое количество бумаг и книг, так что будет невозможно сейчас их доставить в III отделение, в таком случае вы обязаны то и другое сложить в одной или в двух комнатах, смотря как укажет необходимость и комнаты те запечатать, а самого Достоевского немедленно представить в III отделение.

Ежели при опечатании бумаг и книг Достоевского он будет указывать, что некоторые из оных принадлежат другому,

¹ Заголовки, обозначенные звездочками, принадлежат редактору.

какому либо лицу, то не обращать на таковое указание внимания и оные также опечатать.

При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и осторожность, под личною вашею ответственностью.

Г. начальник штаба корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт сделает распоряжение, чтобы при вас находились: офицер с. петербургской полиции и необходимое число жандармов.

Генерал-адъютант гр. Орлов

*** ВЫПИСКА**
ИЗ „СПИСКА ЛИЦАМ, ПОСЕЩАВШИМ С 11 МАРТА СЕГО
(1849) Г[ОДА] СОБРАНИЯ, ПЕТРАШЕВСКОГО ПО
ПЯТНИЦАМ“

Достоевский 1-ый Федор Михайлович, отставной инженер-поручик литератор.

Жительство: 1-ой адмиралтейской части 2 кварт. на углу Малой Матросской и Вознесенского проспекта в д. Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бремера.

„ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ“.¹

Примечание: 11-го, 25 марта и 1 апреля был на собраниях,² принимал участие 1-го апреля в прениях о трех вопросах: свобода книгопечатания, освобождение крестьян и преобразование судопроизводства, соглашаясь с мнением Головинского. 15 апреля был на собрании и читал в заседании письмо Белинского в ответ Гоголю. Письмо это в самых дерзких и преступных выражениях и проч. Оно принадлежит Филиппову. По словам Петрашевского братья Достоевские и Майковы разыгрывают первую роль в обществе литераторов.

¹ Фраза подчеркнута в подлиннике красным карандашом. *Прим. Н. Б.*

² В „Донесениях“ Антонелли Достоевскому приписывалось присутствие на собрании еще 18 марта (см. далее на стр. 98). *Прим. Н. Б.*

ЯСНЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

От меня требуют, чтоб я передал все, что знаю о Петрашевском и о тех людях, которые у него бывали по пятницам, т. е. [требуют] показания фактов и личного мнения моего об этих фактах. Соображаясь с первым вопросом моим я заключаю, что от меня требуют отчетливого ответа на следующие пункты:

1) О том, каков характер Петрашевского, как человека вообще и как политического человека в особенности?

2) Что бывало на тех вечерах у Петрашевского, на которых я присутствовал и мое мнение о тех вечерах?

3) Не было-ли какой тайной, скрытной цели в обществе Петрашевского? Вредный-ли человек сам Петрашевский и до какой степени он вреден для общества?

Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, хотя и ездил к нему по пятницам, а он в свою очередь отдавал мне [мой] визиты. Это одно из таких знакомств моих, которым я не дорожил слишком много, не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским. И потому я поддерживал [это] знакомство с ним ровно на столько, на сколько того требовала учтивость, т. е. [нрзб.] посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже. Оставить же его совсем, я не имел никакой причины. Да к тому-же мне бывало иногда любопытно [бывать] ходить на его пятницы.

Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского. Даже знакомство наше началось тем, что он с первого разу поразил мое любопытство своими странностями. Но ездил я к нему нечасто. Случалось, что я



М. В. БУТАШЕВИЧ-ПЕТРАШЕВСКИЙ
(Подлинник в ИРЛИ)

не бывал у него иногда более полугода. В последнюю-же зиму, начиная с Сентября месяца я был у него не более восьми раз. Мы никогда не были коротки друг с другом, я думаю, что во все времена нашего знакомства мы никогда не оставались вместе, одни, глаз на глаз, более получаса. Я даже заметил положительно, что он, заезжая ко мне, как будто исполняет долг учтивости; но что н. прим. вести со мной долгой разговор ему тягостно. [И я и он, мы] Да и со мной было тоже самое; потому что, повторяю, у нас мало было пунктов соединенья и в идеях и в характерах. Мы оба [кажется] опасались долго заговариваться друг с другом; потому что с десятого слова мы бы заспорили, а это нам обоим надоело. Мне кажется что взаимные впечатления наши друг о друге одинаковы. По крайней мере я знаю, что я очень часто ездил к нему по пятницам не столько для него и для самих пятниц, сколько для того, чтоб встретить некоторых людей, с которыми я хотя и был знаком, но виделся чрезвычайно редко, и которые мне нравились. Впрочем, я всегда уважал Петрашевского как человека честного [нрзб.] и благородного.

Об эксцентричностях и странностях его, говорят очень многие, почти все кто знают или слышали о Петрашевском, и даже по ним делают свое о нем заключение. Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумия. Действительно очень трудно было-бы объяснить многие из его странностей [9 нрзб. слов]. Нередко при встрече с ним на улице спросишь: куда он и зачем? — и он ответит какуюнибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он шел только что исполнить, что не знаешь что подумать о плане и о самом Петрашевском. Из-за такого дела, которое нуля не стоит, он иногда хлопочет так, как будто дело идет обо всем его имени. Другой раз спешит куданибудь на полчаса кончить маленькое дельцо, а кончить это маленькое дельцо можно разве только в два года. Человек он вечно суеющийся и движущийся, вечно чемнибудь занят. Читает много, уважает систему Фурье и изучил ее в подробности. Кроме того особенно занимается законоведением. Вот все, что я знаю о нем как о частном лице, по данным весьма неполным для совершенно точного определения характера: потому что, повторяю еще раз, в слишком коротких сношениях я с ним никогда не находился.

Трудно сказать, чтоб Петрашевский, (наблюдаемый как политический человек), имел какую нибудь свою определенную систему в суждении, какой нибудь определенный взгляд на политические события. Я заметил в нем последовательность только одной системе; да и та не его, а Фурье. Мне кажется, что именно Фурье и мешает ему смотреть самобытным взглядом на вещи. Впрочем могу утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далек от идеи возможности немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту. В этом я всегда был уверен.

Общество, которое у него собиралось [у Петрашевского] по пятницам, почти все состояло из его коротких приятелей [нрзб.] или давних знакомых; так по крайней мере [мне казалось] я думаю. Впрочем являлись и новые лица, но, сколько я мог заметить довольно редко. Из этих людей я знаю хорошо только очень малую часть. Других знаю только потому, что раза [два] три, четыре в год [поговорю] случалось говорить с ними и, наконец, [большую часть] многих из гостей Петрашевского, почти совсем не знаю, хотя схожусь с ними [у Петрашевского] по пятницам уже год или два. Но хотя я не знаю хорошо всех лиц, однакоже прислушался к [всем многим] иным мнениям. Все эти мнения большею частию разноглаголища, и одно противоречит другому. Я не встретил никакого единства в обществе Петрашевского, никакого направления, никакой общей цели. Положительно можно сказать, нельзя найти [2 нрзб. слова] трех человек, согласных в каком нибудь пункте, на любую заданную тему. Оттого велись споры друг с другом; вечные противуречия и несогласия во мнениях. В [многих] некоторых из этих споров брал участие и я.

Но прежде, чем я скажу, [о том] по [чему] какой причине я участвовал в [некоторых общих] этих спорах, и [у Петрашевского] на какую именно тему я говорил, я скажу несколько слов об том в чем меня обвиняют. В сущности я еще не знаю доселе в чем меня обвиняют. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил вольнодумно и что наконец прочел вслух литературную статью: „Переписку Белинского с Гоголем“. Скажу от чистого сердца, что [самое трудное определение] до сих пор, для меня было всего на свете труднее — определить слово: вольнодумец, [и] либерал. Что разумеет под

этим словом? Человека, который говорит противузаконно? Но я видал таких людей, для которых признаться в том, что у них болит голова — значит поступить противузаконно, и знаю что есть и такие, которые готовы говорить на каждом перекрестке все, что только в состоянии перемолоть их язык [нрзб.]. Кто [нрзб.] видел в мо [ю] ей душе? Кто определил ту степень вероломства, вреда и бунта, в котором меня обвиняют? По какому масштабу сделано [нрзб.] это определение? [Если] Может быть судят по нескольким словам, [которые] сказанным мною у Петрашевского [то судят 3 нрзб. слова]. — Я говорил три раза: два раза я говорил о литературе и один раз о предмете вовсе неполитическом: об личности и об человеческом эгоизме. Не припомню чтоб было чтонибудь политического и вольнодумного в словах моих. Не припомню чтоб я когданибудь высказывался весь, как о я на самом деле, у Петрашевского. Но я знаю себя и если основывают обвинение [меня] на нескольких словах, схваченных на лету и записанных на клочке бумаги, то я не боюсь даже и такого обвинения, хотя оно самое опасное; ибо ничего нет [опаснее] губительнее, сбивчивее и несправедливее нескольких слов, вырванных бог знает откуда, относящихся бог знает к чему, подслушанных наскоро, понятых наскоро, а всего чаще вовсе непонятых, записанных наскоро. Но повторяю я знаю себя и не боюсь даже такого обвинения.

Да если: желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле может быть я вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором [вольнодумец] может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя в праве быть гражданином, чувствует себя в праве желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Но это желание лучшего было в возможном или невозможном? Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционерно, возбуждая жолчь и ненависть! Но я не боюсь улики; ибо никакой донос в свете не отнимет от меня и не прибавит мне ничего; никакой донос не заставит меня быть другим, чем я на самом деле. В том-ли проявилось мое вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают

долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства (этого и в мыслях не может быть!), но потому, что по их мнению предмет такой, о котором уже принято не говорить громко? В этом-ли? Но меня всегда даже оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная [послужить?] быть обидой правительству, чем быть ему приятною. И в самом деле: зачем правому человеку опасаться за себя и за свое слово? Это значит полагать, что законы недостаточно ограждают личность, и что можно погибнуть из-за пустого слова, из-за неосторожной фразы. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое откровенное слово, сколько-нибудь похожее на мнение, высказанное прямо без утайки, уже смотрят как на эксцентричность! Мое мнение, что если бы все было откровеннее с правительством, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как-будто инстинктивно боимся чего-то; что сойдемся ли мы н.прим. толпой в публичном месте,—мы смотрим друг на друга недоверчиво, исподлобья, косимся по сторонам, подозреваем кого-то. Заговорит-ли кто-нибудь н.прим. о политике, то заговорит непременно шопотом и с самым таинственным видом, хотя-бы республика была так же далека от его идей, как и Франция. Скажут: „оно и лучше, что у нас не кричат на перекрестках“. Без сомнения, никто и слова не скажет против этого; но излишнее умолчание, излишний страх, наводит какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, который кажется все в безрадостном неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный; весь этот страх беспредметен, напрасен (я верю в то), все эти опасения больше ничего, как наша выдумка, и мы сами только напрасно беспокоим правительство своею таинственностью и недоверчивостью. Ибо из этого натянутого положения часто выходит много шума из пустяков. Самое обыкновенное слово, сказанное громко, получает гораздо более весу, а самый факт по своей эксцентричности принимает размеры иногда [почти] колоссальные и наверно припишется посторонним (необыкновенным), а не настоящим (обыкновенным) причинам.

Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного, неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует.

А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим общения, дробимся на кружки или черствеем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и более никто, — я так всегда думал.

Хотя я и привел для примера наши общественные разговоры, а между тем, я сам далеко не крикун, и тоже самое скажет про меня всякий кто меня знает. Я не люблю говорить громко и [нрзб.] долго даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слышу за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина, занята постоянно болезнью, ипохондрическими припадками, которыми я страдаю уже скоро три года. Едва остается немного времени на чтение и на то, чтоб узнать, что на свете делается. Для приятелей и знакомых остается очень немного времени. А потому, если я и [говорил] написал теперь против системы всеобщего, как будто систематического умолчания и скрытности, то это потому, что мне хотелось высказать свое убеждение, а вовсе не защищать себя. Но [однакоже] в чем обвиняют меня? [полторы строки нрзб.] В том, что я говорил о политике, о Западе, о ценсуре? и проч. Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения, или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспрецедентная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь [за со] в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей, каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование, свое и детей своих! И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, [вчуже] потрясти душу. [Да нрзб.] Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию Европейскую; [это] такое зрелище — урок! Это, наконец, история, а история наука будущего. И после этого неужели обвинят нас, которым дали известную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки —

неужели обвинят нас в том, что мы имели [иногда] столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, [даже] приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности. Неужели обвинят меня в том что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится [надвое [больная?]] несчастная Франция, что я считаю может быть этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит теперь это?) и которое приведет, наконец, лучшее время. Дальше этого мнения, дальше таких идей, никогда не простиралось мое вольнодумство о Западе и о революции. Но если я говорил о французском перевороте, если я позволял себе судить о современных событиях, следует-ли из этого, что я вольнодумец, что я республиканских идей, что я противник самодержавия, что я его подкапываю. Невозможно! Для меня никогда ничего не было нелепее идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи. Да наконец такое обвинение будет противно всем моим убеждениям, моему образованию. Я может быть еще объясню себе революцию западную, и историческую необходимость тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, [а может] более тысячелетия длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному! У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его, 2) безобразие республики Новгородской,— республики, испробованной в продолжение нескольких веков на Славянской почве — и наконец 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: в первый раз от татар, второй раз в реформу Петра Великого, когда только одна [нрзб.] теплая детская вера в своего великого кормчего, дала России возможность, перенести такой крутой поворот в новую жизнь. Да и кто у нас думает о Республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета, даже еще более усиленного на то время; а иначе дело должно произойти революционерным образом.

Не думаю чтобы нашелся в России любитель русского бунта. Примеры известны и до сих пор памяты, хотя случились давно. В заключение я припомнил теперь [что я раз говорил], слова свои, несколько раз повторявшиеся мною: — что все, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, все то постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно [2 нрзб. слова] многим из тех кто меня знает.

Я говорил об ценсуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом; ибо чувствовал что произошло какое то недоразумение, из которого и вытекает [нрзб.] натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. [Ибо] Мне грустно было что звание писателя унижено в наше время, каким-то темным подозрением, и что на [него] писателя, уже заранее, прежде чем он написал что нибудь, ценсура смотрит как-будто на какого-то естественного врага правительству, и принимается разбирать рукопись уже с очевидным предубеждением. Мне грустно слышать, что запрещается иное произведение не потому, чтобы в нем нашли что нибудь либерального, вольнодумного, противного нравственности, а например потому, что [произведение] повесть или роман слишком печально кончается, что выставлена слишком мрачная картина, хотя-бы эта картина не обвиняла и не заподозревала никого в обществе, и хотя бы самая трагедия произошла совершенно случайным, и внешним образом. Пусть разберут все, что я написал, напечатанного и ненапечатанного, пусть про[чтут] смотрят рукописи, уже напечатанных сочинений и увидят каковы они были до поступления к цензору — пусть найдут в них хоть одно слово, противное нравственности и установленному порядку вещей. А между тем я именно подвергся подобному запрещению собственно за то, что картина написана была слишком мрачными красками. Но если б знали в какое мрачное положение поставлен был автор запрещенного сочинения! Он увидел* перед собою [нрзб.] необходимость просидеть хуже чем без хлеба целых три месяца, ибо работа давала мне средства к существованию. Да кроме того, среди лишений, грусти, почти отчаяния, (ибо, откинув денежный вопрос, — тяжело до отчаяния видеть свое произведение, которое любил, на[д] которое потратил труд, здоровье,

лучшие силы душевные — запрещенным от недоразумения, от подозрения [не более]— итак, кроме того, среди лишений, грусти, отчаяния нужно еще найти столько легких, веселых [минут] часов, чтобы написать в это время новое литературное произведение красками [яркими] светлыми, розовыми, приятными. А написать непременно нужно, потому что нужно существовать. Если я говорил, если я немножко жаловался (а я жаловался так немного!)— то неужели я вольнодумствовал? И на что я жаловался? На недоразумение. Именно: я бился из всех сил [доказать строка нрзб.] доказывая, что каждый литератор уже заподозрен заранее, что на него смотрят с недоумением, с недоверием, и обвинял самих же литераторов в том, что они сами не хотят изыскивать средств для разрушения пагубного недоразумения. Пагубного, потому что литературе трудно существовать при таком напряженном положении [что литература одно из важнейших дел в государстве нрзб. по крайней мере нрзб.]. Целые роды искусства должны исчезнуть: сатира, трагедия, уже не могут существовать. Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира осмеивает порок, и чаще всего — порок под личиною добродетели. Как может быть теперь хоть какое нибудь осмеяние? Цензор во всем видит намек, заподозревает нет-ли тут какой личности, нет-ли жолчи, не намекает-ли писатель на чье либо лицо и на какой нибудь порядок вещей. Мне самому случалось очень часто, забывши грусть захохотать над тем, что нашел цензор вредным для общества и неспособным к напечатанию в моих или в чьих чужих рукописях. Смеялся я потому, что никому кроме цензора в настоящее время не придет в голову подобных подозрений [в насто. Из]. В самой невиннейшей, чистой фразе подозревается преступнейшая мысль, которую видно что цензор преследовал с напряжением умственных сил, как вечную, неподвижную идею, которая не может покинуть его головы, которую он сам создал, колеблемый страхом и подозрениями, сам воплотил ее в своем воображении, сам расцвел небывалыми страшными [нрзб.] красками и наконец уничтожил свой фантом вместе с невинной причиной его страха — безгрешной, первоначальной фразой писателя. Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь

от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками? [Как] Каким образом светлая сторона картины будет видна без мрачной? Может ли быть картина без света и тени вместе? О свете мы имеем понятие только потому что есть тень. Говорят: описывай одни доблести, добродетели. Но добродетели мы и не узнаем без порока; самые понятия добра и зла произошли от того, что добро и зло постоянно жили вместе, рядом друг с другом. Но подумай только я выставить на сцену невежество, порок, злоупотребление, спесь, насилие! Цензор тотчас же заподозрит меня и подумает что я говорю про все вообще без изъятия. Я не стою за изображение порока и мрачной стороны жизни! И тот и другая вовсе не милы мне. [но я. Я] Но я говорю единственно только в интересах искусства. [2 нрзб. строки].

Видя, убедаясь наконец [нрзб.], что между литературой и ценсурой происходит недоразумение — (одно недоразумение и больше ничего!), я сетовал, я молил чтобы это печальное недоразумение прошло поскорее. Потому что я люблю литературу и не могу не интересоваться ею; потому что я [нрзб. строка] знаю, что литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. С образованием, с цивилизацией являются новые понятия, [они] которые требуют определения, названия — русского, чтоб быть переданными народу; ибо не народ может назвать их в настоящем случае, затем что цивилизация не от него идет, а свыше; — [а] назвать их может только то общество, которое прежде народа приняло цивилизацию, [А кто] т. е. высший слой общества, класс уже образованный для принятия этих идей. Кто же формулирует новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял — кто же, как не литература! Реформа Петра Великого не принялась бы так легко в народе, который и не пон[имал]ял-бы чего хотят от него. А каков был русский язык при Петре Великом? На половину русский на половину немецкий, потому что на половину жизни немецкой, понятий немецких, нравов немецких привилось к жизни русской. Но Русский народ не говорит по-немецки, и явление Ломоносова сейчас после

Петра Великого было не случайное. Без литературы не может существовать общество, а я видел что она угасала, и, в десятый раз повторяю, недоразумение, возникшее между литературой и цензорами волновало меня, мучило меня. Я говорил, — но я говорил только о согласии, о соединении, об уничтожении недоразумения. Я не поджигал кругом меня никого, потому что я верил. Да и говорил то я только с самыми короткими приятелями, со своими товарищами — литераторами. Это-ли вредное вольнодумство?!

Меня обвиняют в том, что я прочел статью [Белинского] „Переписка Белинского с Гоголем“ на одном из вечеров у Петрашевского. Да я прочел эту статью, но тот кто донес на меня может ли сказать, к которому из переписывающихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит было-ли не только в суждениях [моих, (от которых я воздержался) — но хотя-бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что нибудь, способное выказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно чем к другому из переписывающихся? Конечно он не скажет того. [Статья] Письмо Белинского написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не [приближают] привлекают его; а все письмо начинено ими и жолчью написано. Наконец вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого [он] Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни. Письма эти написаны в последний год его жизни, во время пребывания за границею. Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек, как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нем даже и человека. Она ожесточила, очерстила его душу и залила жолчью его сердце. Воображение его, расстроенное, напряженное увеличивало все в колоссальных размерах и показывало ему такие вещи, которые один он и способен был видеть. В нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии. Между прочим явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. В журнале, в котором он числился сотрудником и где за болезнь очень мало работал, — ему связывала редакция руки

и уже не давала писать слишком серьезных статей. Это оскорбляло его. И вот в этом-то состоянии он написал [это] письмо свое Гоголю. — В литературном мире не безызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально-противоположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов или скандальных происшествий. Я именно возражал ему что жолчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака, и начиная насильно проповедывать ему, и учить его уму-разуму. Белинский рассердился на меня и наконец от охлаждения, мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались наконец друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. Я давно желал прочесть эти письма. В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский и Гоголь — лица очень замечательные; отношения их между собою весьма любопытны, — тем более для меня, который был знаком с Белинским. Петрашевский случайно увидел эти письма в моих руках, спросил: „что такое?“ — и я [обещ] не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезть к нему в пятницу. Сам я вызвался, и уже потом должен был сдержать слово. Я прочел [их] эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, хотя она и не лишена некоторого рода литературного достоинства. Что до меня касается я буквально не согласен ни с одним из [этих] преувеличений, находящихся в ней. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал-ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), да еще писанную в болезни, в расстройстве умственном и душевном — стал ли бы я читать [ее как образец?] эту статью, выставляя ее, как образец, как формулу, которой нужно следовать? Я только теперь понял, что сделал

ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже и не подозревал того, в чем могут обвинить меня, [я и] не подозревал за собою греха. Из уважения к человеку, уже умершему, замечательному в свое время, которого многие уважают за некоторые литературно-эстетические статьи его, написанные действительно с большим знанием [своего] литературного дела — наконец, из щекотливого чувства по поводу ссоры нашей за идеи, которая многим известна, я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и [безо вс] с полным беспристрастием.

Я упомянул, что я говорил о политике, о цензуре и т. д., но я только напрасно сказал на себя. Мне хотелось только высказать образ идей моих. Никогда я не говорил у Петрашевского об этих предметах. Говорил я у него только [всего] три раза или лучше сказать два раза. Раз о литературе, [нрзб.] по поводу спора с Петрашевским из за Крылова и другой раз о личности и [нрзб.] об эгоизме. Вообще я человек неразговорчивый и не люблю громко говорить, там где есть мне незнакомые. Образ мыслей моих, и я весь, известен только очень немногим моим приятелям. От больших споров я удаляюсь и люблю уступить, только-бы меня оставили в покое. Но я был вызван на этот литературный спор, темой которого, с моей стороны, было то, что [литература] искусство не нуждается в направлении, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою; ибо она необходимое условие художественности. Одним словом известно, что это направление диаметрально противоположно газетному и [вредно в] пожарному. Многим тоже известно, что это направление мое уже в продолжение нескольких лет. Наконец спор наш слышали все у Петрашевского; все могут засвидетельствовать то, что я говорил. Кончилось тем что оказалось, что Петрашевский со мною одних идей о литературе, но что мы не понимали друг друга. Об этом заключении тоже все слышали. И я заметил наконец, что весь спор вышел отчасти из самолюбия; потому что я заподозрил раз Петрашевского в отчетливом знании по этому предмету. — Что же касается до второй темы: о личности и эгоизме, то в ней я хотел доказать, что ме-

жду нами более амбиции, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бессульности занятий. Эта тема чисто психологическая.

Я сказал, что в обществе, которое собиралось у Петрашевского не было ни малейшей целостности, ни малейшего единства, ни в мыслях, ни в направлении мыслей. Казалось это был спор, который начался один раз, с тем чтоб никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество — чтоб спорить и доспориться; ибо каждый почти раз расходился с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новою силою, чувствуя что не высказали и десятой части того, что хотелось сказать. Без споров у Петрашевского было-бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противуречия и могли соединять этих разнохарактерных людей. Говорилось обо всем и ни об чем исключительно, и говорилось так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно. Я так уверен. И если я участвовал иногда в спорах у Петрашевского, если я ездил к нему и не пугался того [если], когда слышал иное горячее слово, то это потому, что совершенно был уверен, (и уверен в том до сих пор) что тут дело происходило семейственно, в кругу общих знакомых и приятелей Петрашевского, а не публично. Так и действительно было и если теперь обратили такое исключительное внимание на то, что было у Петрашевского, то [это] мне кажется [потому], это произошло оттого, что Петрашевский известен почти всему Петербургу своими странностями и эксцентричностями, а поэтому и вечера его известны; а я знаю положительно, что молва преувеличивала их значение, хотя в людской молве было больше насмешки [чем опасения] к вечерам Петрашевского, чем опасения [2 *нрзб.* строки]. Тем, что говорилось иногда довольно откровенно [я не смущался] (но всегда в виде сомнения и всегда то что говорилось подымалось на спор) я не смущался, потому что по моей идее лучше пусть иной горячий [*нрзб.*] парадокс, иное сомнение идет на суд других (конечно не на площадь, а в приятельский круг), чем остается внутри человека без выхода, черствеет и [коренеет] укореняется в душе его. Общий спор полезнее уединения. [Правда] Истина всегда наверх всплывет, и здравый смысл одержит победу; так я смотрел на эти собрания

и на основании такого взгляда ходил [нрзб.] иногда к Петрашевскому. И опыт оправдал меня. Потому что, например, о фурьеризме перестали наконец совсем говорить, ибо фурьеризм был засыпан насмешками со всех сторон, даже как учение. Но если бы решился ктонибудь у Петрашевского говорить о применении системы Фурье к нашему общественному быту, то ему тут же бы безо всяких околичностей насмеялись в глаза. Я говорю [без всяких околичностей нрзб.] так потому, что уверен в истине слов моих.

Чтоб отвечать на вопрос: не было-ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского, можно утвердительно сказать, припоминая всю разноголосицу, все это смешение понятий, характеров, личностей, специальностей, все эти споры, доходившие чуть-чуть не до вражды и которые тем не менее оставались [нрзб.] одними спорами, — смотря на все это и сообразив, можно утвердительно сказать, что невозможно, чтоб была какаянибудь тайная, скрытая цель во всем этом хаосе. Тут не было и тени единства и не было бы до скончания веков; и хотя я знал не всех и не все в обществе Петрашевского, но, судя по тому что я видел, могу положительно сказать, что я не ошибаюсь.

Теперь мне приходится отвечать на последний вопрос, ответ на который составит заключение моего оправдания. Это: вредный-ли человек сам Петрашевский и до какой степени он вреден для общества? Когда мне предложили этот вопрос в первый раз я не мог отвечать на него прямо. [Потому что] До этого вопроса, я должен был разрешить в себе целый ряд вопросов и сомнений, которые [мигом] тотчас же породились в уме моем, которых я разрешить не мог тут-же на месте, которые требовали некоторого соображения, и потому я стоял, не зная что отвечать. Теперь, сообразив все, я представляю и предварительные соображения мои и наконец, ответ на заданный мне вопрос, как следствие этих соображений.

Во первых, если меня спрашивали [может ли быть], вреден-ли Петрашевский для общества? [нрзб. его] то я разумею прежде всего, как фурьерист, как последователь и распространитель учения Фурье. Мне показали тетрадь мелко исписанную и сказали, что я вероятно узнаю почерк. Руки Петрашевского я не знаю, мы с ним никогда не

переписывались, и я решительно не подозревал, чтобы он пускался в авторство. И я говорю утвердительно. И потому я решительно ничего не знаю о Петрашевском, как о фурьеристе-распространителе. Я знаю только его научные верования. Да и то мы с ним и в научный разговор о Фурье редко вступали, почти никогда; ибо наш разговор в ту же минуту обратился бы в спор. Это он знал очень хорошо. Планов-же [своих] и распоряжений Петрашевский мне никаких никогда не сообщал и я решительно не знаю: были-ли они у него или не были. Кроме того, если б даже и были, чего я совершенно не знаю, то [мы с ним] он, будучи совсем не в коротких сношениях со мною, [совсем] и вовсе в небольшой [ко мне] приязни [друг к другу. Ко мне], наверно (я уверен в том), скрыл-бы от меня все и не объявил-бы мне ни слова. Я-же, с своей стороны, и в желании никогда не имел проведать его тайны. И потому я решительно ничего не могу сказать о Петрашевском как о фурьеристе, кроме как в отношении чисто научном.

Я знаю, что Петрашевский уважает систему Фурье. Как фурьерист, конечно, он не может не желать, чтоб ему сочувствовали. Но меня спрашивали: делает-ли он учеников? Не увлекает-ли он к себе учителей [в] из разных учебных заведений, с тем, чтобы обратив их, действовать через них на распространение фурьеризма в юношестве? Отвечаю: положительно я ничего не могу сказать на этот вопрос, потому что не имею достаточных данных, [ибо] решительно не зная тайн Петрашевского. Мне сказали, что у Петрашевского в числе знакомых есть учителя, н.прим. Толь. Но с Толем я [не только не] совершенно не знаком, и узнал что он учитель только очень недавно. Что-же касается до Ястржембского, то об нем я узнал, что он [тоже] учитель, [потому что] только с тех пор, как он говорил о Политической Экономии. Больше учителей я никого не знаю. Будучи не только не в коротких, но даже в далеких отношениях к [Петрашев] Толю, я не знаю ни истории знакомства его с Петрашевским, ни того, когда они познакомились, ни того в каких отношениях наход[ятся]ились друг к другу — одним словом мне [было] вовсе не любопытно знать [об их] это. Что-же касается Ястржембского, то я имел случай узнать образ [нрзб] экономических идей его, когда

два раза удалось мне его слышать [его]. Он [чистейший] сколько мне кажется, экономист последней школы и допускает социализм настолько, насколько его допускают самые строгие профессора науки. Ибо социализм в свою очередь сделал много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим. Одним словом, я полагаю что Ястржембский далеко не фюрерист и что ему нечему учиться у Петрашевского. Но замечу, что Ястржембского, как человека, я не знаю [короче этого] совсем. Я с ним [нрзб.] никогда не вступал в разговоры и кажется [как] что и он [ко мне в тех же самых] находится точно в таких-же ко мне отношениях. Полного образа его идей я не знаю, равно как и он моего. Итак я могу [только] судить о Петрашевском, как о распространителе учения только по одним догадкам, по соображению.

Но по догадкам я ничего не могу сказать. Я знаю, что мое показание не [примется] возьмется за окончательное, за основное, но все таки оно останется показанием. Что же если я ошибусь? Ошибка ляжет на моей совести. Мне показали рукопись, о существовании которой я не знал прежде. Я прочел одну фразу этой рукописи. В этой фразе высказано горячее желание скорейшего торжества системы Фурье. Если вся рукопись в этом роде, если Петрашевский признал ее, то, конечно, он желал распространения системы Фурье. Но употреблял-ли он действительно какие либо меры до сих пор? я не знаю. Мне неизвестны его тайны и я думаю, что мне можно [нрзб.], наконец, поверить. Никто не покажет, что мы были с Петрашевским когданибудь в отношениях очень близких. Я ездил к нему по пятницам, как знакомый не более. Я не знаю никаких [нрзб.] его планов и я в первый раз видел эту рукопись, содержания которой, кроме одной фразы, я совершенно не знаю. Итак, делал-ли он чтонибудь, употреблял-ли он какие меры, об этом я сказать не могу. Но да позволят мне изложить несколько собственных моих соображений, которые составляют во мне глубочайшие убеждения, которые я долго обдумывал, которые и прежде мне представлялись такими же как и теперь, и вследствие которых, наконец, я при первом вопросе о виновности Петрашевского не мог отвечать положительно.— Я понимаю, как важны в глазах судей Петрашевского такие улики,

как книги, рукописи и разговоры записанные отрывками. Но так как меня спросили о Петрашевском, то да позволят мне изложить мой взгляд на все его дело.

Петрашевский верит Фурье. Фурьеризм система мирная; она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердце тою любовью [с которою] к человечеству [полон], которая воодушевляла Фурье [произвел *нрзб.*], когда он составлял свою систему и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не жолчными нападками, а воодушевляя любовь к [человеку] человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа — экономическая. Она не посягает ни на правительство, ни на собственность, а в одном из последних заседаний Палаты Виктор Консидеран, представитель фурьеристов, торжественно отказался от всякого посягновения на фамилию. Наконец, эта система кабинетная и никогда не будет популярною. Фурьеристы во время всего февральского переворота ни разу не вышли на улицу, а остались в редакции своего журнала, где они проводят свое время уж слишком двадцать лет в мечтах о будущей красоте фаланстеры. Но без сомнения, эта система [и] вредна, во первых, уже по одному тому, что она система. Во вторых, как ни изящна она, она все-же утопия, самая несбыточная. Но вред, производимый этой утопией, если позволят мне так выразиться, более комический, чем приводящий в ужас. Нет системы социальной, до такой степени осмеянной, до такой степени не популярной, освистанной, как система Фурье на Западе. Она уже давно померла и предводители ее сами не замечают, что они только живые мертвецы и больше ничего. На Западе, во Франции, в эту минуту всякая система, всякая теория вредна для общества; ибо голодные пролетарии в отчаянии хватаются за все средства, и из всякого средства готовы сделать себе знамя. Там минута крайности. Там голод гонит на улицу. Но фурьеризм забыт из презрения к нему, и даже кабетизм, [нелепее] нелепее которого ничего не производилось на свете, возбуждает гораздо более симпатии. Что же касается до нас, до России, до Петербурга, то здесь стоит сделать двадцать шагов по улице, чтоб убедиться, что фурьеризм [даже] на нашей почве может только существовать или [на] в неразрезанных листах книги, или в мягкой, незлобивой мечтательной

душе, но не иначе как в форме идиллии или подобно поэме в двадцати-четырёх песнях в стихах. Фурьеризм вреда нанести не может серьёзного. Во первых, если бы и был вред серьёзный, то самое распространение его уже утопия, ибо до невероятности медленно. Чтобы понять фурьеризм вполне, нужно его изучить, а это целая наука. Нужно прочесть до десятка томов. [Ну] Может-ли такая система когда-либо сделаться популярною! Распространять ее с кафедр через учителей? Но это физически невозможно, уже по одному объёму фурьеристической науки! [Но, повторяю, вреда серьёзного, по моему мнению от системы Фурье быть не может, и если [кому] фурьерист нанесет кому вред, так только разве себе, в общем мнении, [которое] у тех, в которых есть здравый смысл. Ибо самый высочайший комизм для меня — это ненужная никому деятельность. А фурьеризм, [а] вместе с тем и всякая западная система, так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере нации — а, с другой стороны, до того порождение Запада, до того продукт тамошнего, западного положения вещей, среди которого разрешается во что-бы ни стало пролетарский вопрос, что фурьеризм с своею настойчивою необходимостью [в нрзб. у нас] в настоящее время, у нас, между которыми нет пролетариев, был бы уморительно-смешон. Деятельность фурьериста была бы самая ненужная, след. самая комическая. Вот почему по догадке моей, я полагаю Петрашевского умнее, и никогда не подозревал его серьёзно, дальше кабинетного уважения к Фурье. Все остальное я, по истине, готов был счесть за шутку. [Иначе] Фурьерист несчастный и невинный человек — вот мое мнение. Наконец, по моему мнению, ни один парадокс, сколько их ни было, не мог удержаться долго сам собою, своими силами. Так нас учит история. И доказательство, то, что во Франции в один год пали почти все системы одна за другой и пали сами собою, чуть только дело дошло до малейшего опыта. Сообразив это все, еслиб я даже знал, (чего я не знаю, повторяю еще раз) — но еслиб я даже знал, что Петрашевский, не боясь никакой [насмешки] насмешки, [стар] все еще старается о распространении фурьеризма, то я бы [удер] все таки удержался сказать, что он вреден, [или] что он приносит положительный вред. [Это было бы] Во-

первых, каким образом мог-бы быть вреден Петрашевский, как пропагатор фурьеризма? [Было бы]—свыше моих понятий. Смешон, а не вреден! Вот мое мнение [и так с одной стороны даже [нрзб.] Петрашевского (его я не знаю) я был бы неуверен во вреде его — с другой стороны [нрзб.] и, вот что я по совести могу отвечать на заданный мне вопрос.

Наконец во мне возникло еще одно соображение, о котором я не могу умолчать, соображение чисто-житейское. У меня было давнее, старое убеждение, что Петрашевский [не лишен] заражен некоторого рода самолюбием. [Через это] Из самолюбия он созывал к себе в пятницу, и [наскучил своим] из самолюбия-же пятницы не надоедали ему. Из самолюбия он имел много книг, и, кажется, ему нравилось, [то] что знают, что у него есть редкие книги. Впрочем, это не более, как мое наблюдение, догадка, ибо, повторяю, все что я знаю о Петрашевском, я знаю не полно, не совершенно [нрзб.], а по догадкам, [потому] основанным на том, что я видел и слышал.

Вот мой ответ. Я передал истину.

Федор Достоевский

*** СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ О БУМАГАХ ДОСТОЕВСКОГО**

16 Мая 1849 года.

Копия

Секретно

Милостивый Государь, Иван Александрович!

По рассмотрении бумаг Поручика Достоевского не оказалось в них ничего непосредственно относящегося к настоящему делу, но найдены: записка к нему от Белинского, заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он еще не знаком, и письмо из Москвы, писанное Плещеевым, в котором он упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием Императорской Фамилии в Москве и поручает Достоевскому передать поклон тем лицам, кои прикосновенны к известному обществу. Эти бумаги и найденные еще у Достоевского две запрещенные книги под заглавиями: 1, *Le Berger de Kravan* и 2, *La célébration du dimanche* имею честь препроводить при сем к Вашему Высокопревосходительству, покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Подписал Князь Александр Голицын

Верно: ст. сов. Шмаков

№ 49

16 Мая 1849 года.

Его Высокопре-ву И. А. Набокову.

*** ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ БУМАГ КН. А. ГОЛИЦЫНА**

17 Мая 1849 г.

Секретно

Милостивый Государь Иван Александрович!

В дополнение к отношению моему от вчерашнего числа № 49, имею честь препроводить при сем к Вашему Высокопревосходительству, указ об отставке Поручика Федора Достоевского, найденный между взятыми у него бумагами, — покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Князь Александр Голицын

№ 53

17 Мая 1849 года.

Его Высокопревосходительству И. А. Набокову.

*** УКАЗ ОБ ОТСТАВКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

ПО УКАЗУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Предъявитель сего, служивший в Инженерном корпусе Полевым Инженер Подпоручиком Федор Михайлов сын Достоевский, который, как из формулярного его списка, представленного Командиром С. Петербургского Инженерного Округа, значится: Вероисповедания Православного. От роду имеет двадцать два года. Из дворян. В службу вступил в Кондукторскую роту Главного Инженерного Училища Кондуктором 1838 Января 16; за хорошее поведение и знание фронтальной службы произведен в Унтер-офицеры 1840 Ноября 29; по Высочайшему повелению переименован в Портупей юнкера тогож года Декабря 27; произведен по экзамену в Полевые Инженер Прапорщики тысяча восемьсот сорок первого года Августа пятого числа девятнадцати лет от роду, с оставлением при Главном Инженерном училище для продолжения курса наук в нижнем офицерском классе; по экзамену в Подпоручики с переводом в верхний офицерский класс 1842 Августа 11; выпущен из упомянутого училища по окончании в оном полного курса наук, на действительную службу по Инженерному корпусу 1843 Августа 12, зачислен в списки С. Петербургской Инженерной команды, с употреблением при чертежной Инженерного Департамента 23 числа. По выборам дворянства не служил, в походах не бывал; особых поручений по Высочайшим повелениям и от своего начальства не имел; наград, Высочайших благоволений, Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал. Обучался: Закону Божию, Русскому языку, всей чистой Математике,

Теоретической и прикладной Механике, начертательной Геометрии, Геодезии, полевой и долговременной фортификации, Минному искусству, Артиллерии, военно-строительному искусству, Архитектуре, Физике, Химии, Минералогии и Геологии, Тактике, Государственным законам, Истории, Географии, рисованию, Ситуации, черчению планов, Французскому и Немецкому языкам. Был в отпуску 1843 года с 21 июня на 28 дней, и на срок явился. В штрафах по суду и без суда не бывал, Высочайшим замечаниям и выговорам по Высочайшим приказам не подвергался. Холост. Состоял по Инженерному корпусу в комплекте. К повышению чина и к награждению знаком отличия безпорочной службы всегда аттестовался достойным. Отчеты какие имел представлял в срок. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника замечен не был и вопреки должной взыскательности по службе, беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал, оглашаем и изобличаем в неприличном поведении не был. А прошлого 1844 года по Высочайшему Его Императорского Величества приказу Октября в 19-ый день отданному, он Достоевский вследствие прошения его уволен от службы по домашним обстоятельствам Поручиком. Во свидетельство чего, на основании свода военных постановлений ч. II кн. 2 ст. 1556, сей указ дан отставному Поручику Достоевскому за подписанием Моим и с приложением печати.

В С. Петербурге Апреля 5-го дня 1845-го года.

Лист сей принадлежит к указу об отставке Г. Подпоручика Достоевского от 5 Апреля 1845 г. № 902.

№ $\frac{172}{31}$ М. Ч. 2 к. Записан на квартире 13 Мая 1846 г.

№ 806. Lieutenant Fedor Dostajewsky. Предъявлен в Ревельской Управе Благочиния к выезду в С. Петербург. Ревель, 28 Авг. 1846.

2 час. 2 кв. № $\frac{1}{29}$, на квартире записан 9 Августа 1846.

Вас. ч. I. кв. № 26, на квартире запис. 5 Декабря 1846 г.

Вас. ч. 2 кв. № 94, на квартире зап. 24 Февраля 1847.

3 ч. 2 кв. № 256, на квартире 17 Января 1848.

2 кв. № 94, у Бреммер на квартире зап. 9 Сентября 1848.

* ДОНЕСЕНИЕ П. Д. АНТОНЕЛЛИ

Достоевский 1-ый, по донесениям Антонелли, был в собраниях у Петрашевского 11, 18, 25 Марта¹ 1 и 15 Апреля.

В собрании 11 Марта (131) Толь говорил речь о происхождении религии и развивал вопрос, существует-ли в людях религиозное чувство, доказывая, что религия не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна, потому что подавляет развитие ума и проч. Речь Толя произвела всеобщее одобрение.

В собрании 18 Марта (147) Ястржембский говорил речь о науках, объясняя, что все науки, и в особенности Статистика, показывают прямо на социальное правление, как наилучшее. В речи своей Ястржембский часто ссылался на Прудона и восставал не только на сановников, но и на государя.

В собрании 25 Марта (175) говорено, каким образом должно восстанавливать подведомственные лица против властей. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, т. е. в законе и Государе, и вооружать подчиненных не противу начальников, а противу самого корня, начала зла. Баласогло, Берестов Филипов, Кайданов и еще кто-то возражали, что напротив должно вооружать подчиненных противу ближайшей власти, и переходя от низших к высшим,

¹ 11, 18, 25 — зачеркнуто карандашом, очевидно после ответов Достоевского, что на собраниях 11, 18 и 25 марта он не присутствовал. (См. ответы Достоевского на стр. 114—115). В „Выписке из дела об отставном Инженер-Поручике Федоре Достоевском“ уже исправлено: „По донесениям Агента, Достоевский обвинялся в том, что был на вечерах у Титулярного Советника Бугашевича-Петрашевского 1 и 15 Апреля сего 1849 года...“ (л. 119. См. далее на 153 стр.). *Прим. ред.*

невольно, ощупью, довести до самого начала зла. При этом Филипов сказал: „наша система пропаганды, есть наилучшая, и, отступить от нее, значит отступить от возможности исполнения наших идей“. За сим Толь читал статью о началах религии, написанную им в том-же духе, как и прежде; а Баласогло читал предисловие к сочинениям Хмельницкого, написанное Дуровым и заключающее в себе много либеральных идей, причем Петрашевский, благодаря сочинителя, прибавил, что все должны стараться писать в подобном духе, потому что хотя цензура вымарает десять, двадцать мыслей и идей, но пять все таки останутся.

В собрании 1-го Апреля (215) говорено о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и освобождении крестьян. Головинский утверждал, что освобождение крестьян должно занимать первое место; а Петрашевский доказывал, что гораздо безопаснее и ближе достижение улучшений судопроизводства. Между этими разговорами, Головинский сказал, — что перемена правительства не может произойти вдруг и что сперва должно утвердить диктатуру. Петрашевский сильно восставал против этого и в заключение сказал, что он первый подымет руку на диктатора. Момбелли говорил, что если нельзя думать в эту минуту об освобождении крестьян, то по крайней мере священной обязанностью каждого помещика, должна быть заботливость об образовании крестьян, заведении у них школ и внушении им о собственном их достоинстве. С мнением Момбелли согласилось и все собрание, кроме Григорьева 1-го.

В собрании 15 Апреля (291) Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским и в особенности письмо Белинского к Гоголю. В этом письме Белинский, разбирая положение России и народа, сперва говорил о православной религии в неприличных и дерзких выражениях, а потом о судопроизводстве, законах и властях. Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласоглу и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у Русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах. За сим Петрашевский говорил, что нельзя предпринимать никакого восстания без уверенности в совершенном успехе и предлагаемая по этому свое мнение к достижению цели. После сего

перешли к трем главным вопросам, 1-го Апреля разбиравшимся; говорили: Петрашевский, Ахшарумов и Головинский; последний более прочих развивал этот предмет, обещаясь в следующие две пятницы развить оный положительно.

Ястржембский, принимавший также участие в беседе, вызвался и со своей стороны развить этот предмет.

Примеч. 1. Петрашевский, как доносит Антонелли, говорил, что в пятницу (4 Марта) были у него, между прочими, братья Достоевские, с которыми Петрашевский поспорил, упрекая их в манере писания, которая будто-бы не ведет ни к какому развитию идей в публике.

Примеч. 2. Антонелли доносит, что Петрашевский между прочим говорил, что здесь существует какое-то общество, составленное из литераторов, в котором главную роль разыгрывают братья Майковы и братья Достоевские.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

Ахшарумов, Тимковский, Ястржембский и Филипов показали: что Достоевский на собрании у Петрашевского читал рукопись „переписка Гоголя с Белинским“, что рукопись эту из них Филипов списал с рукописи его Достоевского, который впоследствии обе взял себе; получил-же он ее из Москвы, кажется от Плещеева. Филипов к этому прибавил, что Достоевский читал еще переписку Гоголя с Белинским на одном из вечеров у Дурова.

Из показаний Спешнева, Момбелли и Ахшарумова, видно, что Достоевский был и на том вечере у Петрашевского (в Декабре прошлого 1848 г.), когда Тимковский читал речь о социализме.

В этой речи (как показывает Момбелли) Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, о коммунизме, и о пропаганде, потом предлагал разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых. Впечатление, произведенное чтением Тимковского было самое грустное.

В бумагах Достоевского 1-го, по уведомлению статс Секретаря князя Голицына, не оказалось ничего, непосредственно относящегося к делу, но найдены: записка к нему от Белинского, заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он еще не знаком, и письмо из Москвы от Плещеева, в коем он упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве, в следующих выражениях:

„Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, — желают, чтобы скорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии и т. д.

В этом-же письме, между прочим, Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, Пальма и Щелкова, а им трем в особенности.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Достоевский 1-й объяснил, что он никогда не был в коротких отношениях с Петрашевским, хотя и бывал у него по пятницам, равно как и Петрашевский в свою очередь отдавал ему визиты. Это одно из таких его знакомств, которым он не дорожил слишком много, не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским и посещая его весьма редко, поддерживал это знакомство лишь на столько, сколько требовала учтивость, оставить же его совсем не имел никакой причины, к тому же ему бывало иногда любопытно ходить к Петрашевскому на его пятницы, не столько для него, сколько для встречи с некоторыми людьми, коих он видел чрезвычайно редко и которые нравились ему. В последнюю зиму, начиная с Сентября месяца, он, Достоевский, был у Петрашевского не более восьми раз. Его всегда поражали странности в характере Петрашевского и он, Достоевский, слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, меньше благоразумия. Человек он вечно суеющийся, читает много, уважает систему Фурье, которую изучил в подробности и кроме того особенно занимается законоведением. Впрочем он, Достоевский, всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного. Трудно сказать, чтобы Петрашевский, наблюдаемый как политический человек, имел какую нибудь свою определенную систему в суждении или определенный взгляд на политические события. Он, Достоевский, заметил в нем последовательность только одной системы Фурье и это именно, как он полагает, мешает ему смотреть на вещи самобытным взглядом. Впрочем он, Достоевский, может утвердительно сказать, что Петрашевский

слишком далек от идеи возможности немедленно[го] применения системы Фурье к нашему общественному быту. Общество, собиравшееся у Петрашевского по пятницам, почти все состояло, как думает он, Достоевский, из коротких его приятелей, или давних знакомых, иногда же являлись и новые лица, но сколько он мог заметить, довольно редко. В обществе Петрашевского он, Достоевский, не встретил никакого единства, никакого направления или общей цели, и положительно может сказать, что нельзя найти там трех человек согласных в какомнибудь пункте на любую заданную тему. От этого происходили споры друг с другом, вечные противоречия и несогласия в мнениях; в некоторых из этих споров принимал участие и он, Достоевский. Он говорил у Петрашевского три раза: два о литературе и один раз о предмете вовсе неполитическом: „О личности и человеческом эгоизме“ и не припомнит, чтобы было в словах его чтонибудь политическое или вольнодумное. Если же желать лучшего — есть либерализм, то в этом смысле он, Достоевский, может быть вольнодумец, точно так же, как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству, потому что находит в себе и любовь к отечеству и сознание, что никогда ничем не повредил ему.

„Если меня обвиняют, — изъясняет Достоевский — в том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч., то кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах. Зачем же я учился, зачем наукою во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно. Нельзя выводить из этого, что я вольнодумец и противник самодержавия, напротив, для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России и всем, кто знает меня, известны об этом мои мысли. Говоря о цензуре, об ее непомерной строгости в наше время, я сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое то недоразумение, из которого и вытекает помянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писатель уничтожено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству



С. Ф. ДУРОВ
(Подчинник в ИРЛИ)

и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением“.

Статью „Переписка Белинского с Гоголем“ он, Достоевский, читал на одном из вечеров у Петрашевского, но при этом не только в суждениях его, но даже в интонации голоса или жесте во время чтения, не было ничего способного выказать пристрастие к которому либо из переписывающихся. Письмо Белинского написано слишком странно, чтобы возбудить к себе сочувствие, оно наполнено ругательствами, написано жолчью и потому отвращает сердце. Он, Достоевский, был довольно коротко знаком с Белинским и потому переписка его с Гоголем для него довольно замечательный литературный памятник. Что же касается до него, Достоевского, то он буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в этой статье, и никогда не стал бы читать, выставляя ее, как образец, которому нужно следовать, но теперь только он понял, что сделал ошибку и что не следовало его читать этой статьи вслух“.

„Что касается до того, не было ли какой тайной скрытой цели в обществе Петрашевского, то припоминая все смешение понятий, характеров в обществе Петрашевского и споров, доходивших чуть не до вражды, может утвердительно сказать, что невозможно, чтобы была подобная цель во всем этом хаосе“.

В заключение Достоевский присовокупил, „что он решительно ничего не может сказать о Петрашевском, как о фюреристе распространителе и что ему в этом отношении известны только научные его верования; планов же и распоряжений своих Петрашевский ему никогда никаких не сообщал и он, Достоевский, решительно не знает, были ли они у него или не были“.

*ФОРМАЛЬНЫЙ ДОПРОС Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Г. Достоевскому

На предлагаемые здесь высочайше учрежденною Следственною комиссиею предварительные вопросны пункты имеете объяснить по сущей справедливости, коротко и ясно:

1. Как ваше имя, отчество и прозвание, сколько вам от роду лет, какого вероисповедания и исполняли-ли в надлежащее время предписанные религиею обряды? —

Федор Михайлов Достоевский, двадцати-семи лет от роду, вероисповедания православного греко-российского. Обряды предписанные религиею исполнял в надлежащее время.

2. Кто ваши родители и где они находятся, если живы? —

Отец мой был Штаб-лекарь, коллежский советник Достоевский. Моя мать происходила из купеческого звания. Оба умерли.

3. Где вы воспитывались, на чей счет, и когда окончили воспитание? —

Воспитывался в Главном Инженерном Училище, на собственный счет. Окончил воспитание свое по выходе из Офицерских классов Главного Инженерного Училища, в тысяча восемьсот сорок третьем году.

4. Состоите ли на службе, когда вступили в оную, какую занимаете должность и какой имеете чин; так-же не находились ли прежде сего под следствием или судом и если были, то за что именно? —

Поступил на действительную службу по выходе из верхнего Офицерского класса Главного Инженерного Училища в тысяча восемьсот сорок третьем году, в чертежную Инже-

нерного Департамента. Вышел в отставку в тысяча восемьсот сорок четвертом году, с чином поручика. Под судом или следствием, до сей поры, никогда не бывал.

5. Имеете-ли недвижимое имение или собственные капиталы, а если нет, то какие имели вы средства к пропитанию и содержанию себя и своего семейства, если его имеете? —

По смерти родителей, наследовал вместе со [братьями] всем семейством нашим оставшимся после них недвижимым имением, числом около ста душ, состоящем в Тульской губернии. Но в тысяча восемьсот сорок пятом году, по взаимному соглашению с родственниками, отказался от следуемой мне части в имении за единовременно выплаченную мне сумму денег. В настоящее время не имею ни недвижимого имения, ни капиталов. Средства-же к содержанию себя получал [от] через литературную работу, чем и существовал до сих пор.

6. С кем имели близкое и короткое знакомство и частые сношения? —

Совершенно откровенных [и взаимных] сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлою Достоевским. Приятельских же знакомств имел несколько; ближе всех с семейством художника Майкова, с доктором медицины Яновским, с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским и с Филиповым. Частые сношения имел с моим братом Михайлою, с доктором Яновским, [от] у которого лечусь уже два года от моей болезни, и с Андреем Александровичем Краевским, по поводу близкого моего участия в издаваемом им журнале, Отечественных Записках.

7. Какие были ваши сношения внутри Государства и за границую? —

Кроме Петербургских знакомств сносился с родственниками моими в Москве. За границую сношений не имел никаких.

Отставной Инженер-Поручик, *Федор Михайлов Достоевский*.

* ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

1. [Вопрос.] Давно вы знакомы с Петрашевским?

[Ответ.] Я знаком с Петрашевским ровно три года. [Первый раз] Я увидел его в первый раз весною 1846 года.

2. [Вопрос.] Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?

[Ответ.] Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской Петрашевский поровнялся со мною и вдруг спросил меня: „Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?“ — Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мной ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова, и дошедши до Малой Морской расстались. Таким образом Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство [неск. нрзб. слов]. Эт[о]а перв[ое]ая [знакомство] встреча с Петрашевским была накануне моего отъезда в Ревель и [Петрашевский] увидал я его потом уже зимою. Мне показался он очень оригинальным человеком, но [и] не пустым; я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз уже около поста, сорок седьмого года.

3. [Вопрос.] Часто ли вы посещали вечера его?

[Ответ.] В первые два года знакомства я бывал у Петрашевского очень редко; иногда не бывал по три, по четыре месяца и более. В последнюю же зиму я стал ходить чаще.

Но тоже из месяца в месяц. Впрочем не ровно. Иногда бывал два раза сряду; другой раз пропускал целый месяц. Так, например, в Марте месяце я не был ни разу. Стал я ходить чаще из любопытства; кроме того я встречал там некоторых знакомых. Наконец сам принимал иногда участие в разговоре, в споре, который оставаясь неоконченным в один вечер, невольно позывал меня итти в другой [вечер] раз и докончить спор.

4. [Вопрос.] Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?

[Ответ.] Десять, пятнадцать, двадцать и даже иногда двадцать пять человек.

Из знакомых Петрашевского я до сих пор не знаю [многих по] некоторых по фамилии. Так, н. пример, фамилии Ахшарумова, Берестова, я узнал уже во время ареста. [я нико] Также точно Кропотова, которого я видел, кажется, всего только один раз у Петрашевского. Что-же касается до Кашина, то я его и в лицо не знаю и у Петрашевского никогда не видал. С иными я сошелся ближе чем с другими. Впрочем [наше зн] не всякое знакомство было сделано у Петрашевского, из ближайших мне были: Плещеев, Дуров, Пальм. Кроме того я знал младшего Десбута, Кайданова, Львова, Момбелли, Баласогло, Филипова. Они бывали у Петрашевского довольно часто, но помню что бывали они не всякой раз [встречал]. Кайданов был раза четыре в зиму, Кузьмин один раз Плещеев раза четыре не более. Старшего Десбута я почти не помню. Он, брат его, Кайданов, Пальм почти никогда не принимали участия в общем разговоре. Из введенных мною к Петрашевскому были Головинский и мой брат. Головинский собирался ехать в Казань. Узнавши о том от меня, случайно, Петрашевский сказал, что ему бы хотелось послать письмо в Казань с Головинским и я [сказал что приведу его к Петрашевскому] вызвался привести Головинского к нему. Головинского-же я склонил идти потому, что он уже знал прежде о Петрашевском, по слухам и раз [говорил со] об нем у меня спрашивал. Я повел Головинского собственно только за тем, чтобы показать ему Петрашевского и его знакомых, зная что [Головинскому] ему придется быть у Петрашевского не более двух раз до отъезда, т. е. что я не навяжу [Головинскому] скучного и неприятного знакомства ни тому ни

другому, [ибо на скуку не дост] за краткостию срока этого знакомства. Головинский был всего два раза.

Брат мой Михайло Достоевский познакомился с Петрашевским тоже через меня, когда жил со мною вместе [во время] по приезде из Ревеля. Петрашевского он увидел в первый раз у меня [и повел я] и был приглашен [от Петрашевского] им на вечер; [и] я повел брата, чтобы доставить ему знакомство и развлечение; ибо по приезде из Ревеля он никого не знал в Петербурге и скучал по своему семействе.

Но брат мой никогда не принимал никакого участия в разговорах у Петрашевского. Я не слышал, чтобы он сказал хоть два слова. [он ход] Все, бывавшие у Петрашевского знают это. Ходил он реже меня и если ходил, то ходил из любопытства и потому, что будучи человеком семейным, весьма небогатым, трудящимся отказывающим себе почти во всех наслаждениях, он не мог отказать себе в единственном развлечении:—поддерживать весьма небольшой круг знакомства, чтобы не [одичать] одичать в домашнем углу совершенно. Я говорю это к тому, что [я] брат познакомился с Петрашевским через меня; что в этом знакомстве я виноват, а [вместе] вместе в несчастьи брата и семейства его. Ибо если я и другие, в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами; [ибо] он от природы сложения слабого, склонен к чахотке, и сверх того [мучается душою] мучается душой о погибшем семействе своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть с тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот [заключение] арест должен быть для него буквально казнью, [а] тогда как виновен он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это; ибо знаю что он не виноват ни в чем не только словом, но даже мыслью.

Чаще всех бывали Чириков, Деев и Модерский, но те жили в доме Петрашевского.

5. [Вопрос.] Известно, что в собрании у Петрашевского 11 марта, Толь говорил речь о происхождении религии, доказывая, между прочим, что она не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна.—Сделайте об этом объяснение.

[Ответ.] Я слышал об речи Толя о религии от Филипова, который сказал мне, что он на нее возражал. Самого-же меня в этот вечер у Петрашевского не было.

6. [Вопрос.] На собрании у Петрашевского 18 марта, Ястржембский говорил речь о науках и, между прочим, объяснял, что Статистика, по настоящему должна называться не Статистикою, а общественною социальною наукою, но как Великий Князь велел называть ее Статистикою, то нечего делать, надобно ее так и называть. — Сделайте об этом объяснение.

[Ответ.] Не был и не слышал. В марте месяце с 1-го до 25-го числа я был нездоров и выходил из дому разве по са- монужнейшим надобностям.

7. [Вопрос.] Известно, что в собрании у Петрашевского 25 марта, говорено о том, каким образом должно восстанав- лять подведомственные лица против власти. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, т. е. в законе и Государе. — Напротив Берестов, Филипов, Кай- данов и Баласогло говорили, что должно вооружать подчинен- ных противу ближайшей власти и переходя таким образом от низших к высшим невольно как бы оцупью довести до начала зла. — Сделайте об этом объяснение.

[Ответ.] В этот раз меня у Петрашевского не было. Слышал об этом разговоре от Филипова.¹

8. [Вопрос.] В собрании у Петрашевского, 1 апреля, Петра- шевский, говоря о ценсуре объяснял, что хотя она и стесняет возможность большего развития, но приносит и ту пользу, что вычеркивая все нелепости из какого-нибудь сочинения она дает этому сочинению вид дельный и порядочный; на- против, если бы ценсура была уничтожена, то явилось бы мно- жество людей, влекомых личными побуждениями и страстями, которые хоть своими талантами заслужат место в Истории Литературы, но за всем тем будут служить препоною к раз- витию человечества и к достижению цели, им всем любез- ной. — Объясните [об этой цели].

[Ответ.] Слышал подобное мнение от Петрашевского.

9. [Вопрос.] На том же собрании, при разговоре об освобожд- ении крестьян, говорено было, что идеею каждого должно быть освободить этих угнетенных страдальцев, но что правительство

¹ На листе 66 имеется вопрос: „При тех же разговорах Филипов ска- зал: „Наша система пропаганды есть наилучшая, и отступать от нее значит отступать от возможности исполнения наших идей“. — Объясните эти слова.“

На месте, оставленном для ответа, написано карандашом: „не был в соб- рании и потому не спрошен“ *Прим. ред.*

не может освободить их, ибо без земель освободить нельзя; освободив же с землями должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет, освободив же крестьян без земель, или не заплатив за землю помещикам правительство должно будет поступить революционным образом; но каким образом приступить к освобождению крестьян без воли правительства в этих словах не объясняется. — Объясните о мерах к тому предполагаемых.

[*Ответ.*] [О всем разговоре сл.] Весь этот разговор слышал. Слова Головинского припоминаю; он говорил с увлечением, но окончательного вывода, того, где сказано, что освободить нужно бунтом, не припоминаю, и утверждаю, что разошлись без всякого разрешения на этот вопрос. Все кончилось большим спором.

[*Приписано после:*] При словесном объяснении, я согласился, что Головинский сознает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения. В этом и заключался вопрос мне предложенный, но я его не понял в начале, но считаю себя обязанным прибавить, что Головинский выражал эту идею как факт, а не как желание свое; ибо, допуская возможность освобождения крестьян он далек от бунта и от революционного образа действия. Так мне всегда казалось из разговоров с Головинским.

10. [*Вопрос.*] В опровержение сказанного Головинским, Петрашевский говорил, что при освобождении крестьян, должно непременно произойти столкновение сословий, которое будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее породив военный деспотизм, или что еще хуже, — деспотизм духовный. — Объясните, что подразумевалось под военным деспотизмом и под деспотизмом духовным? —

[*Ответ.*] Помню, что Петрашевский опровергал Головинского. Ответа Головинского ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть я был развлечен в эту минуту посторонним разговором. Не [име] припоминая совершенно [вопроса] как было дело, я не могу отвечать ясно на этот вопрос, а потому, принужден оставить его без ответа.

[*Приписано после:*] Что же касается до Петрашевского, то припоминаю, что он говорил о необходимости реформ:

юридической и ценсурной прежде крестьянской и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольным, при нынешнем состоянии судопроизводства. Но не упомяну хорошо, что означали слова: военной и духовный деспотизм. К тому же и Петрашевский говорил иногда темно и [не] бессвязно, так что его трудно понять.

11. [Вопрос.] На том же собрании, Петрашевский, говоря о судопроизводстве объяснял: „что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве, справедливость не может быть достигнута, и если из тысячи примеров и явится один, где она достигается, то это происходит как-то ненарочно, случайно, что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы цель его, т. е. справедливость,— это судопроизводство публичное *judi*. — Сделайте о сем объяснение.

[Ответ.] Было сказано.

12. [Вопрос.] В том же разговоре, Петрашевский объяснял, что не следует требовать перемены в судопроизводстве, а всеподданнейше просить об этом, потому что правительство и отказавши и удовлетворивши просьбе поставит себя в худшее положение. Отказавши просьбе сословию, оно вооружит его противу себя и идея наша идет вперед. Исполнивши просьбу оно ослабит и себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед.— Объясните об этом.

[Ответ.] Это было говорено. Смысл по моему мнению ясен сам по себе, без объяснения.

13. [Вопрос.] В этом же собрании Головинский говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, но что прежде надо утвердить диктатуру.— Дайте об этом объяснение.

[Ответ.] Не смотря на отдаленность времени я старался собрать все мои воспоминания об этом вечере и, припомнив многие из разговоров, никак не мог припомнить чтоб был[о] и сказан[о]ы [чтонибудь подобное] такие [нрзб.] слова о нашем правительстве.—

Головинский принимался говорить во всеуслышание два раза. Первый раз он говорил о насущности крепостного вопроса, о том что все [им] заняты этим вопросом и что действительно участь крестьянина достойна внимания. Во второй же раз, отвечая Петрашевскому, он поддерживал свое мнение

о том, что разрешение вопроса о крестьянах важнее требования юридической и ценсурной реформ. В оба раза он говорил довольно коротко, первый раз не более 10 минут и во второй не более четверти часа; об этом воспоминания мои точны, и в оба раза начал и кончил только разговором о крестьянах не вдаваясь в другие темы. В такой краткий срок он не мог-бы коснуться ни до чего другого, кроме вышеприведенных тем, на которые он говорил. Но чтобы заговорить о таком пункте как перемена правительства, да еще вдаваться в подробности (ибо если он говорил что не вдруг [переменится] может измениться правительство, то необходимо должен был сказать хоть несколько слов в объяснение своего мнения, уже по самой важности темы; да к тому же [он], как изложено в предложенном мне вопросе он и действительно вдавался в подробности, потому что, как приводится в вопросе, предложил меру, то есть сказал, „что надо утвердить диктатуру“ и необходимо, естественно, должен был сказать хоть два слова о том: какую диктатуру), то, повторяю, заговоря на эту тему и необходимо вдаваясь в подробности, он вдруг перескочил бы от своей прежней темы к совершенно другой; кроме того заговорил бы о таком пункте о котором и слова не было до его речи; в третьих сделал-бы это по какому нибудь поводу, а повода ему дано не было; [в четвер] Наконец должен-бы был проговорить гораздо более четверти часа или, положим 20-ти минут. (На счет времени продолжения [разговора] речи Головинского я надеюсь на точность моих воспоминаний и надеюсь тоже, что никто не покажет противного).

Следственно, если даже и было сказано что нибудь подобное, то оно было сказано, по всем вышеизложенным мною причинам, до того вскользь, мимолетом, между словами и с таким незначительным смыслом, что не удивительно если я не только позабыл теперь об этих словах, но даже пропустил их и тогда в минуту самого разговора. Кроме того и сказаны были, по моему мнению не эти слова, а только что нибудь подобное этим словам, н. прим. что так бывает в о б щ е при перемене какого либо правительства, а не нашего правительства.

Я написал выше „если даже и было сказано“ этими словами я вовсе не хотел [сказать] утвер[дительно]ждать,

что показание на Головинского было сделано не верно. Но только хотел сказать, что этим словам Головинского (если даже они и были сказаны) очевидно придали преувеличенный смысл, и желал доказать это уже [физ] одной физической невозможностью, недостатком времени для разговора на такую важную, новую тему, не упоминая уже о неожиданности перескока с прежней темы на новую, которая, уж неизвестно мне как и по какому поводу, вышла. И так может быть он и сказал это, хорошо не упомню, но вскользь и вообще, а вовсе не как желание перемены [в] наше [м]го правительства.

В одном из ответов моих на вопрос, предложенный мне о Головинском, я сказал, что знаю Головинского лично, знаю идеи его и никогда не слышал от него о желании исполнения идей его бунтом, и вообще всяким насильственным образом. Подтверждаю и теперь, что о перемене правительства я никогда не слышал от него ни слова. Головинский всего чаще [нрзб.] говорил о положении крестьян, потому что увлекался этим вопросом и помнится даже и не говорил никогда на какуюнибудь другую тему, если только разговор начинался в таком роде. По крайней мере я не слышал ничего подобного [зачеркнуты две нрзб. строки].

[Приписано после:] Сейчас только я припомнил, что в одном из разговоров моих с Головинским, один на один, у меня на квартире, мы заговорили о крестьянах и о возможности их освобождения. Так как я очень интересовался этим вопросом, то и спросил Головинского, каким образом он полагает возможность освобождения крестьян, не разорив помещиков, то есть, при вознаграждении помещиков, представляя ему что иначе вопроса и нельзя разрешить; ибо нашего времени помещик не сам поработил крестьян, а случилось это до него за два столетия, то есть в этом он нисколько не виноват, а теряя право на крестьянина, он теряет работника, след. капитал? Я очень хорошо помню, что Головинский не только согласился с этим, но даже сказал мне, что по его идее нет прямой невозможности освободить крестьянина с вознаграждением, что [это сделать] напротив вознаграждение возможно, и даже сказал несколько слов о какой-то финансовой мере, по которой бы можно было, рассрочив на несколько лет платеж, выплатить все сполна. Но о мере этой, так как она изложена была очень вскользь и мы были прерваны, я не упомню. [зачерк. неск. нрзб. слов].

Я привел это воспоминание к тому, чтоб показать, что Головинский не желает революционного и всякого насильственного образа действия, что по моему окончательному мнению он только занят сильно [этим] крестьянским вопросом, [так как он очень] потому что этот вопрос интересен сам по себе и достоин внимания, [нрзб.] и останавливается на мерах мирных, возможных, а не сокрушающих. Вот с какой стороны я знаю Головинского.

14. [Вопрос.] Известно, что на собрании у Петрашевского, 15 апреля, Петрашевский читал речь по поводу отдания первенства вопросу о судопроизводстве и, между прочим, говорил, что переменою судопроизводства откроются и все прочие недостатки, и что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе, что перемены судопроизводства можно достигнуть законным образом, требуя от правительства таких вещей, в которых оно не может отказать, сознавая их справедливость, и что достигнув перемены в судопроизводстве, можно будет требовать у Правительства и других перемен. — Дайте о сем объяснение, и покажите по какому случаю вы читали на этом собрании письмо Белинского к Гоголю.

[Ответ.] Так как это [мысль вообще в] в идее Петрашевского, то оно могло быть сказано.¹ Я уже после чтения находился в другой комнате, кажется с Кайдановым и Пальмом.

¹ По более зрелом обсуждении вопроса, я нахожусь вынужденным дать некоторое объяснение на мой ответ. В вопросе приведена следующая фраза, в которой обвиняется Петрашевский: „...И что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе...“

Я отвечал выше, что все, что предлагается в вопросе, в идее Петрашевского. Этими словами я подразумевал только известное желание Петрашевского о переменах и улучшениях в судопроизводстве, — желание, исполнения которого он [нрзб.] ожидает прежде всего. Что же касается до слов о восстании, то долгом считаю сказать, что я никогда не слышал от Петрашевского никаких проектов о восстании, ни наедине, ни среди общего разговора, что с этой стороны Петрашевского не знаю и потому не могу сказать, чтобы и эти слова были в его идее. Находясь во время речи в другой комнате, не могу ничего сказать об этих словах положительного но [нрзб.] догадываюсь и предполагаю, что они были сказаны не в виде проекта (неск. нрзб. слов) насущного и необходимого, а только фактически, как доказательство невозможности [неск. нрзб. слов.] всякого восстания вооруженной рукой. Убежден же я потому, что сам [слышал несколько

Я прочел письмо Белинского к Гоголю, вызвавшись сам [у Дурова во время сви] при свидании с Петрашевским у Дурова. Я дал обещание и уже не мог отказаться от него. Петрашевский напомнил мне об этом обещании [в пятницу] уже у себя на вечере. Впрочем он не знал и не мог знать содержания письма. Я его прочел стараясь не выказывать

раз] заметив неоднократно, что Петрашевскому [что ему бы] очень не нравилось [еслиб кто стал то] когда кто, не удержавшись, говорил у него [в пятницу] на вечерах слишком резко и неосторожно. [Нрзб.] Я заметил также что он всегда старался какнибудь замять подобный промах и чьенибудь неблагоприятное слово.

Но этим объяснением моим я не могу и отнюдь не желаю ручаться в чемнибудь за Петрашевского, за его тайные намерения, если они есть у него [о чем] (которых я никогда не знал) и за его сокровенный образ мыслей. Может быть мне действительно придется сознаться, что я знал его еще менее того, чем предполагал знать. Не хочу тоже и оправдывать словами моими и его уже известный мне образ мыслей. Нет; но я привожу мое объяснение единственно [потому что] побуждаемый чувством справедливости. Я должен сказать истину. И потому повторяю, что излишне резкого слова, так н. прим. о бунте, о восстании вооруженной рукой, Петрашевский не мог сказать в виде желания, у себя на вечере, т. е. таким образом, как будто бы эта фраза, взятая отдельно, в виде трактата о средствах к восстанию и к бунту, могла в свою очередь послужить темой для разговора, [в какуюнибудь] в другую пятницу. Подтверждаю и повторяю, еще, что собрания Петрашевского вовсе не были [подобного] такого рода, на которых бы толковалось о средствах к бунту [в виде настоятельной необходимости]. В воспоминаниях моих я не нахожу ни одной подобной речи или мысли, изложенной или самим Петрашевским или кемнибудь из его посетителей на его вечерах.

Наконец я твердо уверен, что еслиб Петрашевский и позволил себе такие темы для разговора, или допустил-бы другого когонибудь ризвивать подобную идею, то в следующую пятницу у него не было бы посетителей. По крайней мере я могу поручиться за тех, кого я знаю. Не говоря уже о тайных побуждениях и сокровеннейших планах Петрашевского и каждого из его посетителей (предполагая только [их] возможность существования этих планов) не говоря об них и нисколько не оправдывая отрицанием их вечера Петрашевского, я хочу только сказать, чтобы заключить мое объяснение, что ни Петрашевский ни гости его не могли быть так неблагоприятны, чтобы делать заговор, еслиб даже и хотели того (об чем опять говорю отнюдь не утверждая, но в виде предположения) таким открытым, неосторожным и безрассудным образом.

Я должен был дать это объяснение и для того, чтобы сказать истину, и для того, чтобы не бросить предшествовавшим ответом моим опасной и несправедливой тени подозрения, на многих из бывавших у Петрашевского, которых мнения я знаю близко и за которых даже могу поручиться.

пристрастия ни к тому ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем [с слушате] из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке тоже не слышал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чегонибудь целого. К тому же быв занят чтением, я не могу даже сказать теперь чьи [слы] были восклицания и смех, [отдельные слова] которые были слышны.

Сознаюсь, что я поступил неосторожно.

15. [Вопрос.] Кроме указанных вами разговоров, происходивших на собраниях у Петрашевского, не было ли там говорено еще чегонибудь особенного в отношении правительства и кто именно говорил?

[Ответ.] Я не упомяну ни одного из разговоров, особенно замечательных, кроме тех, на которые имел честь дать объяснение, и которые заняли [почти всю] прошедшей зимой почти все пятницы Петрашевского, начиная с Октября месяца. Впрочем говорю только за те вечера, на которых я сам лично присутствовал. Речь Тимковского занимала два или три вечера (я был на двух); Ястржембский говорил вечеров пять (я был раза три). Наконец я знаю по слухам что говорили Толь, Филипов, и еще был спор о чиновниках. Потом я был лично, на двух вечерах, [нрзб.] на которых толковалось о литературе. Потом когда говорилось о вопросах: крестьянском, цензурном и судебном. В эти два раза я тоже присутствовал — и вот все речи и разговоры, которые я знаю, кроме не политических и не серьезных: так наприм. было несколько слов, сказанных Момбелли о вреде карт и о растлении нравов из-за игр. По его идее карты, доставляя ложное и обманчивое [упражнение] занятие уму, отвлекают его от истинных потребностей, от образования и полезных занятий.

У Петрашевского не всегда говорились (как уже назвали их) — речи; слово давалось по большей части тем, которые говорили против убеждений большинства присутствующих, для того, чтобы не всякой из [этих] несогласных возражал в одно время, и тем не затягивал и не сбивал напрасно разговора. Но большею частью, особенно после речи, тотчас-же разбивались на кучки и разговор шел перекрестный, о котором упомянуть нельзя, да и уловить всего было невоз-

можно. Очень многое из того, что предлагалось мне для ответа, [должно] повидимому было сказано во время этих шумных [нрзб.], отдельных разговоров. Но да позволят мне сказать в о о б щ е несколько слов об этих речах и разговорах.

Так как говорить речей у нас никто не привык и не умеет, то обычай говорить речь введенный на вечерах Петрашевского [во из] единственно во избежание излишнего шума, смутил говоривших своею новостью и непривычкою. И я заметил неоднократно, что часто говорящий [как бы нарочно] чтоб ободрить себя, как бы нарочно прибегал к некоторым уловкам, которые и [нрзб.] не в характере и не в привычках его. Одна из таких уловок есть острое словцо, слово для смеха, слово пасквильное, насмешка, резкая выходка. Раздающийся кругом смех уже ободряет говорящего; он по естественному чувству увлекается, удваивает резкость, заговаривается, впадает в ложную горячность, в негодование, даже в озлобление, которых нет в его душе; потому что, как мне было известно, часто говоривший бывал из самых незлобивых и смирных людей. Тут и тщеславие явится на подмогу и разжигает говорящего [и потому нрзб.] и желание угодить всем и каждому, заставляющее иногда для вида [для того чтобы прошла своя задушевная мысль, в надежде что задали ход иной, согласиться] согласиться с чужой идеей, которой вовсе не разделяет ораторствующий, но соглашается в надежде, что за то не тронут и его какойнибудь задушевною идеей.— Наконец самолюбие, разжигающее человека, и заставляющее его по несколько раз требовать слова и с нетерпением ожидать следующего вечера, чтобы опровергнуть своих возражателей — одним словом для многих, (для очень многих по моему искреннему убеждению) — эти вечера, эти речи, эти разговоры были настолько-же серьезным занятием, насколько серьезные карты, шахматная игра и т. п. в свою очередь неотразимо увлекающие человека, действуя точно таким же образом на те же страсти и страстишки его. Очень многие по моему мнению самих себя обманывали и опутывали в этой игре, у Петрашевского принимая игру за серьезное дело.

Также точно разговоры в кучках. Все, что накопится недосказанного, что накопит в уме в противуречиях на иную длинную речь, которую должно выслушать не возражая ни слова, все это изливается разом по окончании речи, тем

с большею силою, чем длиннее была речь, чем больше согласных с нею, и чем больше [явившихся] явилось собственных противуречий.— В это время трудно удержаться от резкого слова, от иной мысли, до того неосторожной, до того не в обыкновенном, нормальном характере [ее] того, кто высказ[авшего]ывает ее, что наверно высказавший на завтра-же, или может быть тут-же, через час отказ[ывается]ался бы от нее спохватившись, но поздно. К тому-же вечера [эти] Петрашевского слыли всегда за приятельские, за кружок знакомых, а вовсе не были клубом или нарочно устроенными политическими собраниями.

— Я говорю это утвердительно, [потому] рассуждая так: что если бы (говоря в виде предположения) и был ктонибудь желающий участвовать в политическом собрании, в тайном обществе, в клубе, то наверно он не принял-бы за тайное общество вечеров Петрашевского, где была одна только болтовня, иногда резкая, оттого, что хозяин ручался, что она приятельская, с е м е й н а я, и где вместо всего регламента и всех гарантий был один только колокольчик, в который звонили, [когда] чтобы потребовать комунибудь слова. Но уже по одному тому, что эти вечера были приятельски-с е м е й н ы е, если можно так выразиться, уже по одному этому не остерегались иные и говорили неосторожно. Говорили так как-бы они не стали говорить публично. Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его, или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, [задушевном] чуть не наедине?— Но семейный и публичный человек — лица разные.

Я был серьезно удивлен, когда мне, на первом-же допросе представлена была от [высочайше] высочайше утвержденной комиссии фраза, сказанная Дуровым для подания на нее объяснений — смысл которой был тот, „что нужно посредством литературы, показывать чиновникам самый корень зла, [т. е.] или иначе — высшее начальство“. Я лично знаю Дурова. Я очень хорошо помню, что он горячо поддерживал меня во время двукратного моего спора у Петрашевского о литературе, спора, в котором я доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного, а след. и подавно не нужно такого, по которому выказывается, как сказано в обвинении, в словах,

приписываемых Дурову — корень зла, не нужно-же потому, что навязывается писателю направление, стесняющее его свободу, и вдобавок направление жолчное, ругательное, от которого гибнет художественность¹ [как уже я имел честь донести].

В тот вечер, в который [как] происходил разговор о чиновниках, меня не было у Петрашевского, как уже я имел честь донести; о споре слышал я на другой или на третий день (хорошо не помню когда) вскользь; слов Дурова не знаю. Но зная его образ мыслей я уверен, что слова эти или непоняты передавшим их, или сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке. — Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается, и даже, [подстрека] из противуречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражен на когонибудь. Близкие Дурова: Щелков и Пальм еще лучше меня знают его несчастный характер и я уверен, что и они скажут со мной в одно слово, одно мнение о Дурове. Что случилось с Дуровым, то могло быть, в большей или меньшей силе со всеми. Представляю эти наблюдения и замечания мои, по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моем.

16. [Вопрос.] Объясните, что и в каком духе читал Тимковский на собрании у Петрашевского.

[Ответ.] Тимковский бывал у Петрашевского в начале зимы, всего на четырех или на пяти вечерах. Это, как показалось мне, один из тех исключительных умов, которые если принимают какуюнибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими, [нередко] в ущерб другим. Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье, и он не заметил других сторон, которые бы могли [его] охладить его излишнее увлечение к [системе] Фурье. Кроме того он [толь] недавно только ознакомился с его системой [Фурье] и еще не успел переработать ее собственной критикой. Это по всему было видно. А известно какое обаяние делает система Фурье с первого раза.

¹ С чем Петрашевский совершенно согласился. Оказалось, что мы спорили из-за недоразумения. Свидетели — все гости Петрашевского.

Прим. Достоевского.

Во всех других отношениях Тимковский показался мне совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем. Он религиозен и [верит] в идеях [полного?] самодержавия. Известно, что система Фурье не отрицает самодержавного образа правления. Что-же касается до личного характера Тимковского, мимо политических убеждений, то я могу сказать одно: он показался мне очень самолюбивым.

Сколько я могу припомнить, за отдаленностью срока, речь его заключалась в следующем:

Во первых, он благодарил всех за [хороший] то, что его хорошо приняли, хотя три четверти лиц, бывших в то время в зале, едва знали его по фамилии, т. е. вступление было сделано нелепо и напыщенно, да и вся речь мне показалась [такою же] в том же духе. Потом он объявил, что скоро уезжает из Петербурга и уносит в душе утешение, что его поняли. Затем он говорил о Фурье с большим увлечением, помнится коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха.— Впрочем Тимковский постигнул невозможность немедленного применения системы.— [За тем] Потом увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы не держался, оговариваясь тут-же, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества; [за тем] наконец просил изъяснить ему симпатию нашу, если он заслужил ее, пожатием руки.

Речь была написана горячо; видно что Тимковский работал над слогом и старался угодить на все вкусы. Но направление Тимковского по моему мнению несерьезно. [Он] Не смотря на свои лета он еще в первом периоде своего фурьеризма, который случайно попал на его дорогу в глуши провинциальной жизни. Недостаток внешней жизни, избыток внутреннего жара, врожденное чувство изящного, требовавшее [нрзб.] пищи, и главное недостаток прочного, серьезного образования, вот по моему мнению что сделало его фурьеристом. В его же летах все принимается несколько глубже, чем в первой молодости. На мой взгляд он может отказаться от многих из своих фурьеристических убеждений, так что от системы Фурье ему останется только то, что в ней есть полезного. Ибо [его] ум его, жаждущий познаний, беспрерывно требует пищи, а образование самое лучшее лекарство против всех заблуждений.— Вот мой собственный взгляд на Тимковского.

Дорогой мой брат (сестра) милостию и благоволением Божиим
на собраниях у Св. Писания, Кашкина, Кузнецова,
Лавина, Дурова, Данилова и на всем им
собрании и на всем им собрании и на всем им собрании

и на всем им собрании и на всем им собрании и на всем им собрании

и на всем им собрании

Слава тебе Боже

Дорогой мой брат (сестра) милостию и благоволением Божиим
на собраниях у Св. Писания, Кашкина, Кузнецова,
Лавина, Дурова, Данилова и на всем им собрании и на всем им собрании
и на всем им собрании и на всем им собрании и на всем им собрании

на всем им собрании и на всем им собрании

Дорогой мой брат (сестра) милостию и благоволением Божиим
на собраниях у Св. Писания, Кашкина, Кузнецова,
Лавина, Дурова, Данилова и на всем им собрании и на всем им собрании
и на всем им собрании и на всем им собрании и на всем им собрании

Дорогой мой брат (сестра) милостию и благоволением Божиим
на собраниях у Св. Писания, Кашкина, Кузнецова,
Лавина, Дурова, Данилова и на всем им собрании и на всем им собрании
и на всем им собрании и на всем им собрании и на всем им собрании

Что же касается до впечатления произведенного им у Петрашевского, то, как показалось мне, оно было очень двусмысленно. Некоторые смотрели на Тимковского с насмешливым любопытством; некоторые скептически не верили его искренности. [Многие объявляли, что чувствуют. Другие же считали его горячим, но совершенно искренним человеком.] Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно-верный снимок с Дон-Кихота, и, может быть, не ошибались. Впрочем все обошлось с ним весьма учтиво и приветливо.

17. [Вопрос.] Бывали ли вы на собраниях у Спешнева, Кашкина, Кузьмина, Дурова, Данилевского и не было ли подобных собраний и у других лиц?

[Ответ.] Со Спешневым я был знаком лично, ездил к нему, но на собраниях у него не бывал и почти [всякий раз] в каждый приезд мой к нему я заставал его одного.

С г. г. Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком.

Данилевского я встречал прошлого года раза два или три, в разных домах. Был с ним знаком отдаленно; но на вечерах у него не бывал; сверх того с Мая месяца 1848 года, я его совсем не видал, кроме одной минуты после его возвращения, да и то не успел с ним сказать двух слов.

На вечерах Дурова я бывал.

Знакомство мое с Дуровым [началось] и Пальмом началось с прошедшей зимы. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они Дуров и особенно Пальм произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых я дорожил этим новым знакомством, и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, т. е. я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев согласились [нрзб.] издать в свет литературный сборник [по этому делу мы начали видаться и следственно] и поэтому стали [сходиться] видаться чаще. Брат написал проект издания; начались рассуждения о редакции издания. Так как редак[торами]цию мы хотели [быть] составлять сами все сообща, и решать о достоинстве романов и повестей, [которые собирались печатать] назначенных для печати должны были [сами] мы-же, то естественно родилась в нас потребность взаимного обобщения наших литературных идей и окончательно [установиться на] согласия в некоторых пунктах, касательно издания, в которых мы все еще не соглашались.

Сходились-же мы всего чаще на квартиру Дурова, [ибо у него было] где нам было всего удобнее; ибо каждый из нас был стеснен у себя дома — брат семейством, я и Плещеев теснотою квартиры, а след. мы и не могли принимать гостей в свою очередь. Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась и музыка. Дуров приглашал самых близких из своих знакомых, [а через] мы ввели к Дурову своих; [и] наконец эти сходки [обратились] стали повторяться каждую неделю и всего чаще бывали они в субботу. Впрочем дней постоянных не было.

Вечера эти пребывали чисто литературно-музыкальными, приятельскими, короткими, потому что все мы уже успели перезнакомиться довольно коротко, — и все это продолжалось в таком виде до тех пор, покамест одно несчастное предложение не изменило на мгновение характера этих сходок. [*неск. нрзб. слов.*]

Возникла мысль, что наши сходки бесплодны даже для нас самих; что [всякий] многие из нас [*нрзб.*] специальное других [знают] в некоторых познаниях и науках; что у каждого свой ум, свой взгляд, свои наблюдения — и если мы будем делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями, то для всех будет польза и выгода. Эта мысль могла-бы найти [*нрзб.*] сочувствие, но Филипов первый ее выразивший примешал к ней другое предложение совершенно изменившее [характер первого] ее характер и набросившее весьма неприятную тень на наши сходки. Именно: ему вздумалось предложить литографировать [*нрзб.*] сочинения, которые бы могли быть сделаны кемнибудь из нашего кружка [хотя еслиб даже они могли быть и нецензурные] мимо цензуры.

18. [*Вопрос*] Кто еще посещал эти собрания и чем там занимались?¹

Я познакомился с Филиповым прошедшего лета на даче, в Парголово. Он еще очень молодой человек, горячий и чрезвычайно-неопытный; готов на первое сумасбродство [и одумается], и одумается только тогда когда уже беды наделает. Но в нем много очень хороших качеств, за которые я его полюбил; именно честность, изящная вежливость, правдивость,

¹ Вопрос был заготовлен, видимо, одновременно с предыдущими на особом листе; Достоевский дал общее показание на оба вопроса.

неустрасимость и прямоту. Кроме того я заметил в нем еще одно превосходное качество: он слушается чужих советов, [если то] чьи бы они ни были, если только сознает их справедливость и тотчас-же готов сознаться в своей ошибке и раскаяться в ней, если в том убедят его. Но [отчаянный] горячий темперамент его и сверх того [слишком] ранняя молодость [иногда подталкивают его] часто опереживают в нем рассудок; [и как] да кроме того есть в нем еще одно несчастное качество, это — самолюбие или лучше сказать [славолюбие] славолюбие, доходящее в нем до странности. [Ему как я заметил]. Он иногда ведет себя так, как будто думает, что все в мире подозревают его храбрость, и я думаю, что он решился бы соскочить с Исакиевского собора, еслиб случился ктонибудь подле [мнением которого], чьим мнением он-бы дорожил и который бы стал сомневаться в том, что он [не] бросится вниз, [а] струсит.

Я говорю это по факту. Я боялся холеры, [в бытность в Петербурге] в первые дни ее появления. Ничего не могло быть приятнее для Филипова, как показывать мне каждый день и каждый [час] час, что он ни мало не боится холеры. Единственно для того, чтоб удивить меня, он не остерегался в пище, ел зелень, [пил] пил молоко и однажды, когда я, из любопытства что будет, указал ему на ветку [рябины] рябиновых ягод, совершенно зеленых, только что вышедших из цвета и сказал, что еслиб [это] съесть эти ягоды, то по моему холера придет через пять минут, Филипов сорвал всю кисть и съел половину в глазах моих, прежде чем я успел остановить его. Это детск [о] ая безрассуд[ство] чрезвычайно вредит Филипову[на]я страсть достойная сожаления к несчастью главная черта его характера. [неск. слов нрзб.]. Из того же самолюбия он чрезвычайный спорщик, и любит спорить обо всем хотя бы того, об чем [он] спорить он никогда не знал. Несмотря на то, что он [человек] образован и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьезно выработанных убеждений, за недостатком действительной жизни. Взамен его молодость щедро наделена всякими увлечениями, нередко самыми разнородными и даже противоречащими друг другу. Вот каковым кажется мне характер Филипова.

Почти все приняли его предложение весьма дурно. Все чувствовали, что зашли далеко и ждали как каждый выскажется.

Не знаю, может быть я [грубо] ошибся, но мне показалось что половина присутствующих только оттого тут-же не высказала противного Филипову мнения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости и хотели отвергнуть предложение не прямо, а какнибудь косвенным образом. К тому же, хотя все были довольно коротки друг с другом, однако прежние знакомые Дурова и Пальма знали новых знакомых, то-есть нас, еще очень недавно и не совсем доверяли нам [из знакомых]. Я забыл сказать, что самые короткие и старые знакомые Дурова и Пальма — Щелков, братья Ламанские и Кашевский. Филипов-же был введен мною; я же пригласил и Спешнева. Впрочем и Филипов и Спешнев были уже довольно знакомы с Дуровым и Пальмом, сходясь иногда у Петрашевского. — Начались толки; всякий представлял неудобства; многие сидели и молчали, другие говорили, больше всех Момбелли и Филипов, но не помню поддерживал ли Момбелли Филипова. Мало по малу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате и начинал хандрить; я уже замечал скорый припадок [наконец Пальм и наконец]. Кашевский и Щелков, вполне равнодушные ко всему что [не] выходит из их артистического круга чтобы замять дело [нач] сели за свои инструменты. Некоторые уехали ранее, тотчас после ужина. Наконец досада Дурова на Филипова [прорвалась] излилась в припадке. Он завел его в другую комнату, придрался к какому то слову его и наговорил ему дерзостей. Филипов вел себя благоразумно, понял, в чем дело и не отвечал запальчиво. [Дуров] Я уехал в тот вечер раньше обыкновенного.

На другой день брат объявил мне, что он не будет ходить к Дурову, если Филипов не возьмет назад своего предложения; то же самое, помнится, он объявил и Филипову, встретив его, кажется, дня через два. По наблюдениям моим я заметил, что многие поступили-бы [одинаково с моим] также, как и мой брат. По крайней мере я положительно знаю, что Дуров хотел уничтожить свои вечера, как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, я попросил, чтобы меня выслушали и отговорил всех, стараясь действовать в моей речи¹ лег-

¹ Впрочем речей у Дурова не говорилось. Я сказал первую и последнюю и всего была одна. *Прим. Достоевского.*

кой насмешкой, но по возможности щадя щекотливость каждого. Мне удалось и, как мне показалось, все как будто ждали этого и тотчас-же предложение Филипова было откинута. После того собрались всего только один раз. Это было уже после святой недели. В это время я был очень занят у себя дома литературной работой моей, виделся с очень немногими из моих знакомых, да и то мельком, [и потому] но знаю, что по болезни Пальма вечера совсем прекратились.

Вот все, что я имею сказать о собраниях у Дурова.

• 19. [Вопрос.] Вы были на обеде у Спешнева. -- Объясните, что происходило замечательного за этим обедом?

[Ответ.] На обеде у Спешнева были толки [продолжать или нет] о предложении Филипова. Впрочем утро было самое скучное и вялое, потому что между Спешневым и Дуровым как мне показалось были недоумения. Эти недоумения [как мне по] сколько я знаю, возникли из-за предложения Филиповского. Дуров рассерженный на Филипова поссорился с Момбелли и объявил, что он не хочет делать вечеров, [потому] говоря, что зачем-же другие не делают? Момбелли предложил собраться у Спешнева, и Спешневу навязали сделать утро. Дуров сказал это, желая во что-бы то ни стало кончить с предложением Филипова и придрался хоть к чемунибудь. Спешнев решительно объявил [что] некоторым, что ему навязали этот обед и что ему неудобно звать в другой раз. Толковали и ничего не решили. Григорьев-же прочел [свою] Солдатскую сказку, но кто автор ее сказано не было, и я не знал, хотя и подозревал. Впрочем я не любопытствовал знать. Впечатление было очень слабое, потому что все были [заняты] под различными влияниями и почти все не хотели подобных чтений. После обеда разошлись тотчас-же.

В первом показании моем я умолчал об этом обеде, во первых, потому что [он] это было продолжением того же спора, во вторых, чтобы не обнаруживать неприятной ссоры Момбелли и Дурова. Я не показал тоже на Григорьева потому что действительно наверно не знаю кто автор „Солдатской Сказки“.

20. [Вопрос.] Известно, что на вечерах у Дурова читали: Милюков — перевод свой из Paroles d'un croquen, вы — переписку Белинского с Гоголем, а Григорьев — Солдатскую беседу. Имеете дать об этом объяснение.

[*Ответ.*] Милюков действительно читал свой перевод. Еще прежде он как-то сказал, что у него он есть; и его просили принести прочесть, — из любопытства.

Которого числа и месяца не помню (кажется в Марте) я зашел к Дурову, в третьем часу по-полудни, и нашел присланную мне переписку Белинского с Гоголем. Я тут-же прочел ее Дурову и Пальму. Меня пригласили остаться обедать. Я остался. В шестом часу заехал Петрашевский и просидел четверть часа. Он спросил, „что это за тетрадь?“ Я сказал, что это переписка Белинского с Гоголем, и обещал [ее пр] неосторожным образом, прочесть ее у него. Это сделал я под влиянием первого впечатления. Тут, по уходе Петрашевского, пришли еще кто-то, и я остался пить чай. [Когда я стал читать]. Естественно зашел разговор о статье, (Белинского) [ибо] и я прочел ее в другой раз. Но слушающих, кроме Дурова и Пальма, было не более шести человек; [ибо] только и было гостей. Помню что были: Момбелли, Львов, братья Ламанские — кто еще? — позабыл. Все это сделалось в первый-же день получения статьи, когда еще я был под влиянием первого впечатления.

О статье Григорьева: Солдатская беседа, я уже дал объяснение, что она была [2 *нрзб.* слова] прочитана; но не у Дурова и не на вечере, а на обеде у Спешнева [который]. Чтение началось так нечаянно, (то есть без предварительных объяснений) что я даже не знал кто автор, и что такое читается. Об этой статье я с Григорьевым не говорил никогда. Впечатление [после чтения почти не было] было ничтожное. Может быть ктонибудь из бывших возле Григорьева сказал несколько одобрительных слов, но разве только из учтивости. [сидя всех дальше во время чтения] Но я этого не заметил, сидя всех далее во время чтения.

21. [*Вопрос.*] На тех-же вечерах Момбелли сделал предложение о тесном сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга, тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении. Сделайте об этом объяснение.

[*Ответ.*] Это было еще в самом начале вечеров у Дурова, кажется даже в первый вечер. — Момбелли действительно начал говорить что то подобное, но всех его слов не упомяну. [Его остановили и сказали, что не зачем этого гово]. Но

Известно, что
на берегах у Ду
рва рутами: Ми
агорос-первды, свои
ири Паролс д ии асир,
ва, ирелисуу Бл-
иниане и Солонис,
а Фригурови вндаж-
жри Висиду Милноје
самб сби дониса
обвелеииса

111.1111111111

и Уеникоти стив... вниане... вал...
дур... ани... вал... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Короче... вниане... вал...
и Валов... и Валов... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

Вниане... вал... вал... вал...
вал... вал... вал... вал... вал... вал...

(Секрет. С. 111.1111111111)

СНИМОК С ПОДЛИННИКА ПОКАЗАНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
(лист 87; см. стр. 135—135).

помню, что он не закончил; потому что его прервали на половине и занялись музыкой. Момбелли засмеялся, не обиделся за невнимание, согласился тут-же, что он начал говорить некстати, и о словах его уже никогда более не было помину, и общество надолго осталось чисто литературно-музыкальным.

22. [Вопрос.] На тех-же вечерах студент Филипов предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, относящихся к вопросам, которые касаются до современного состояния России в юридическом и административном отношении, и печатать их в домашней типографии. — Имеете дать об этом объяснение. —

[Ответ.] Не Студент, а бывший Студентом Павел [Филипов] Филипов. Что же касается, до Студента Филипова, его брата, то он ни с Дуровым, ни с Петрашевским, и кажется ни с кем из нас не был знаком; я его знаю потому что видел раза три [бывши у Павла Ф.], когда заходил к его брату, Павлу Филипову.

Павел Филипов сделал такое предложение. Но в вопросе сказано о домашней типографии. О печатании никогда и ничего я не слышал у Дурова; да и негде. Об этом и помину не было. Филипов же предложил литографию. Это мне совершенно памятно.

Я уже [имел] дал объяснение об этом предложении в одном из предыдущих вопросов. [такое] Это предложение сделано было вдруг [и показалось решитель] то есть в обществе, которое было чисто литературно-музыкальным, и с первого же раза оно завлекло многих, как новость. Впрочем я не помню, чтобы Филипов произнес слово: в либеральном духе, [Да не предложил он] а просто приглашал заняться разработкой статей о России. Некоторые одобрили [было] это предложение в начале, чисто из любознательности; но остановились, когда дело дошло до литографии. Тут, бо́льшая половина, а может быть и все (ибо неизвестно, что каждый думает про себя) не захотели этого предложения. Но толки об этом предложении продолжались еще два собрания (из которых одно было на обеде у Спешнева). Эти толки тянулись через силу: ибо всем видимо хотелось отстать. Но [предложение] наконец оно было отвергнуто, и тогда все объявили себя против него. Каким образом [это]

было отвергнуто я уже имел честь дать объяснение в одном из *предыдущих вопросов*.

Я припомнил, что в начале, когда еще не было вечеров у Дурова, когда они были только в проекте и только рассуждалось об их установлении, я и Дуров, как первые, [которые] согласившиеся на эти вечера, имели случай неоднократно повторить, что вечера устанавливаются чисто с литературно-музыкальною целью, и что другой какой цели, тайной, подразумеваемой — не было, нет и не будет.

Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, без всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели, и всякому сказано было (и не один раз даже), что общество чисто литературно-музыкальное и только литературно-музыкальное.

23. [*Вопрос.*] На тех же вечерах говорено было, что учителя в учебных заведениях должны стараться читать сколько возможно в либеральном духе. — Сделайте об этом объяснение.

[*Ответ.*] Этого совсем не припомню.

24. [*Вопрос.*] Если вам что-либо известно в отношении к злоумышлению, которое бы существовало и вне обозначенных собраний, то обязываетесь все то показать с полною откровенностью.

[*Ответ.*] Ни о чем подобном не знаю.

25. [*Вопрос.*] Что вы знаете об учителе Белецком?

[*Ответ.*] Об учителе Белецком я ничего не знаю.

26. [*Вопрос.*] Объясните, с которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?

[*Ответ.*] Со всею искренностью говорю еще однажды, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему отечеству в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, росло во мне все более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство и самодержавие. Не осмелюсь сказать, что я никогда не заблуждался в желаниях моих, т. е. что все [желания мои] они были правильны. Может быть я и очень ошибался в моих желаниях усовершенствования и общей пользы, так что исполнение [моих желаний] их послужило бы ко всеобщему вреду, а не к пользе. Но я совестливо смотрел за

собою, и очень часто поправлял свое мнение. Может быть мне удавалось иногда выражать это мнение с излишнею горячностью или даже горечью; но это было минутами. Злобы и жолчи во мне никогда не было. К тому же меня всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и (я верю в то) оберегала меня от пагубных заблуждений.

Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Все чего хотел я, это — чтоб не был заглушен ни чей голос и чтобы [возм] выслушена была по возможности всякая нужда. Я знаю, что законы охраняют всех и каждого; верую в то, но есть злоупотребления и к несчастью их много. И потому я изучал, [и] обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором-бы знающие более меня, говорили о возможности некоторых перемен и улучшений. Но во мне, повторяю, никогда желание лучшего не превышало [возможности *нрзб.* я благодарю судьбу, давшую мне образование] возможного.

Что же касается до социального направления, то я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы. Во-первых социализм есть та же политическая экономия, но в другой форме. А политико-экономические вопросы я люблю изучать. К тому же я страстно люблю исторические науки. Вот почему я с большим любопытством следил за переворотами западными. Вся эта ужасная драма сильно занимала меня, во-первых, как драма, во-вторых, как важный факт, по крайней мере, могущий возбудить любопытство. В-третьих, как история, в-четвертых во имя человеколюбия; ибо настоящее положение Запада крайне бедственное. [и я с нетерпением ожидал разрешений] Я говорил иногда о политических вопросах, но редко вслух, почти никогда. Я допускал историческую необходимость настоящего переворота на Западе, но только в ожидании лучшего.

Социализм предлагает тысячи мер к устройству [*нрзб.*] общественному и так как все эти книги писаны умно, горячо и [с непод] нередко с неподдельной любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал

социализм вообще, во всех системах его, именно потому я, (хотя мои познания далеко не окончательные), вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение, хотя которойнибудь из них, поведет за собою неминуемую гибель, я не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражаемо мною. Наконец вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса вырабатывается впоследствии чтонибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы, точно также как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия.

Во всех сих ответах моих на предложенные мне вопросные пункты, написал я сущую правду и ничего более прибавить не имею; в чем и подписуюсь.

27. [Вопрос.] Объясните, когда и каким образом вы познакомились с Черносвитовым?

[Ответ.] Я встретил [его] Черносвитова в первый раз у Петрашевского, никогда не видав его прежде и видел его не более двух раз.

28. [Вопрос.] Известно, что Черносвитов на одном собрании у Петрашевского старался внушить мысль, что либерализм и социализм одно и то же. — О содержании и направлении этого разговора имеете сделать положительное объяснение.

[Ответ.] Разговора о [либера] тождественности либерализма и социализма и мнения Черносвитова не расслышал.

29. [Вопрос.] Известно, что на том же собрании у Петрашевского, Черносвитов в разговорах своих старался всех вызвать на резкость, и действительно, разговор в этот вечер был резче, чем когда либо, причем и Львов рецитировал какую-то басню. Имеете дать положительное о сем объяснение.

[Ответ.] Вызова на резкость я не заметил: но говорил он бойко, остро и часто словами своими порождал смех. О рассказанной басне действительно припоминаю. —

30. [Вопрос.] Известно, что на том же собрании Черносвитов, между прочим, говорил: „да вот г. г. беда нам русским, к палке-то мы очень привыкли — она нам нипочем“; на возражение же Спешнева, что палка об двух концах, Черносвитов

сказал: „да другого-то конца мы сыскать не умеем“.— Имеете сделать по этому предмету положительное объяснение.

[*Ответ.*] Не слышал.

31. [*Вопрос.*] На том же собрании Черносвитов говорил, что Восточная Сибирь есть отдельная страна от России и что ей суждено быть отдельною Империею, причем звал всех в Сибирь, говоря: „а знаете что господа, поедemте все в Сибирь— славная страна, славные люди“.— Объясните о подробностях и цели этого разговора.

[*Ответ.*] Слова эти припоминаю; но только не помню, чтобы Черносвитов давал им подобный смысл. Он говорил, что Восточный Край Сибири действительно страна как-бы отдельная от России, но, сколько я припомню, в смысле климатическом и по особенной оригинальности жителей. Такого же резкого суждения: что Сибири суждено быть отдельною Империей, я решительно не слышал от Черносвитова и такого смысла в словах его по моему мнению не заключалось.

Причем на словесный спрос: об рассказе Черносвитова про оригинальность жителей, отвечаю что слышал как он рассказал свой разговор с каким то, помнится рабочим, [что] про Китай, куда по мнению рабочего можно прелегко забраться.

32. [*Вопрос.*] Говоря про Черносвитова на дороге с Спешневым, вы сказали: чорт знает, этот человек говорит по русски, точно, как Гоголь пишет“. После чего, подойдя ближе к Спешневу, вы сказали: „мне кажется, что Черносвитов просто шпион“.— Объясните, какие разговоры Черносвитова внушили Вам мысль, что он шпион?

[*Ответ.*] Не особенное что нибудь из разговора Черносвитова, но все в разговоре Черносвитова, внушало мне эту, впрочем мгновенную мысль. [*нрзб*] Мне показалось, что в его разговоре есть что [то] увертливое, как будто, как говорится себе на уме. Видев Черносвитова после того всего один раз, я даже и позабыл мое замечание, теперь, когда позван был отвечать на вопрос.

33. [*Вопрос.*] В бумагах ваших найдена записка от Белинского, заключающая в себе приглашение вас в собрание у одного лица, с которым вы еще не были знакомы.— Объясните, какое это собрание, были ли вы на оном и сколько именно раз?

[*Ответ.*] О записке Белинского решительно ничего не могу припомнить, не знаю какого она содержания, и теперь только в первый раз узнаю, что у меня была записка от Белинского. Но этими словами я вовсе не хочу отречься от моего знакомства с Белинским. Я был с ним знаком в первый год знакомства довольно коротко, во второй год очень отдаленно, а в третий год был с ним в ссоре и не виделся с ним ни разу.

Если [Белинский] записка эта пригласительная, то вероятно она была написана еще в первые дни нашего знакомства, [потому что Белинский] и если он куда-нибудь приглашал меня, то просто в гости, а не в собрание. Круг знакомства Белинского, сколько я знаю, был очень тесен и ограничивался литературным кружком. В собрания большие он не ходил и терпеть их не мог, потому что был не людим, хвор и сидень. Вероятно, он хотел познакомить меня с кем нибудь из литераторов. Тогда, т. е. в первые дни нашего знакомства он очень интересовался мною: ибо первый роман мой ему очень понравился, и он смотрел на меня несколько преувеличивая и мое дарование и значение мое. Через роман мой я с ним и познакомился. Сколько помню мы только и говорили тогда об одной литературе и несколько месяцев велся у нас жаркий спор о некоторых мнениях чисто-литературных.— Итак, повторяю, что если я был [то в] приглашен куда нибудь, то не в собрание, а в гости, к какому нибудь литератору. Но куда? как? припомнить ничего не могу, потому что о записке совершенно забыл и не знаю ее. Собраний-же [периоды] постоянных ни у кого [из] не бывало.

34. [*Вопрос.*] В числе книг ваших оказались две запрещенные, под заглавиями: одна — *Le Berger de Kravan*, а другая — *La célébration du dimanche*.— Объясните, от кого и каким образом вы приобрели эти книги?

[*Ответ.*] Накануне ареста, 22 Апреля, я заходил вечером к Григорьеву и взял у него со стола [эту книгу] *Le Berger de Kravan*. Я не успел прочесть в [ней] этой книге ни строчки и потому содержания ее не знаю. [Что же касается до другой] Другую же: *La célébration du dimanche* взял я, кажется, за неделю до ареста, у Головинского. Я прочел в ней только несколько страниц еще в бытность у Головинского и так как она показалась мне занимательною, то я и взял ее с собой.

Впрочем не могу сказать знает-ли об этом Головинский, потому-что я [кажется] помнится, и позабыл спроситься его.

35. [Вопрос.] Известно, что вы посещали вечера Плещеева, на которых была читана юмористическая статья, под заглавием: „Петербург и Москва“, сочиненная Герценом.¹— Объясните, часто ли вы бывали на вечерах этих и какое они имели направление?

[Ответ.] У Плещеева никогда не было постоянных вечеров. Он только очень изредка [просил] звал к себе на чай. По воспоминаниям моим во всю зиму не более трех раз. На этих вечерах говорилось обо всем и ни о чем особенно; т. е. это были обыкновенные приятельские собрания, не более; и так как не было особенной цели, то не было и особого направления; тут всякий точно таков же как и у себя дома, как и в другом месте: особенности никакой не было. Гости были, сколько я знаю, из коротких приятелей. Вот все по моим воспоминаниям. Статья „Петербург и Москва“ была действительно один раз прочитана; но вовсе не для возмутительных целей и без предварительного намерения, а случайно, кажется, потому что под руку попалась как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов; [следственно об ней судили] на нее смотрели с точки зрения чисто-литтературной. [Так по крайней мере я уверен.] Так, по крайней мере, по воспоминаниям моим.

36. [Вопрос.] Из показаний Спешнева и Данилевского видно, что на вечерах Плещеева рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги.— Дайте об этом объяснение.

[Ответ.] На вечерах Плещеева, о которых я говорил в предыдущем вопросе, никогда, ни одного слова не было произнесено о подобном предмете.

Но я помню, что один раз, когда именно—позабыл, но только очень давно, слишком год назад, я зашел поздно вечером часов в 11-ть к Плещееву и встретил у него Данилевского и Спешнева. И [нрзб.] помню, тогда действительно [шел разговор] сказано было несколько слов о возможности печатать за границею. Мне тогда-же показалось это невозможным [нрзб.] по многим причинам. Разговор об этом предмете в последующее время никогда не возобновлялся,—[и] одним словом, остался без всяких последствий.

¹ Герценом. Прим. ред.

***ИЗ ДЕЛА О ТИТУЛЯРНОМ СОВЕТНИКЕ
АПОЛОНЕ МАЙКОВЕ**

(Ч. 92)

[*Вопрос.*] Как отчество Валериана Майкова, который, по показанию вашему, посещал собрания Петрашевского, а также какого он звания, где служит и где живет?

Не умер ли он?

[*Ответ.*] Вероятно в этом вопросе сделана ошибка. Я никогда ни одного слова не показывал о Валериане Майкове, и о том, что он знал Петрашевского. Мои воспоминания на этот счет точны.

Валериан Николаевич Майков умер ровно два года назад 13 Июля 1847 года. Я был с ним знаком всего один год, как с литератором. Он был в Университете, кончил курс и потом служил — но где? не могу припомнить. У Петрашевского я его не видал ни разу.¹ Он знал Петрашевского, но не любил ни его, ни его собраний и старался с ним видеться как можно реже. Я два раза был свидетелем, как он не сказался дома, когда Петрашевский приезжал к нему с визитом. Он называл его сумасбродным человеком и я помню, как он говорил, что он не будет у Петрашевского никогда по пятницам и что это общество ему нисколько не нравится.

Вот все, что я имею сказать о Валериане Николаевиче Майкове.

¹ Кроме одного раза, в именины Петрашевского, в званый вечер.

*** ИЗ ДЕЛА О РОМАШОВЕ, САЛТЫКОВЕ, БЕРДЯЕВЕ, ЯШВИЛЕ,
ИЗВОЩИКАХ: ФЕДОТЕ И МИХАИЛЕ ЯКОВЛЕВЫХ И БЛЮМ**

(Ч. 98)

[*Вопрос.*] С которого времени Титулярный Советник Михаил Салтыков начал посещать собрания Петрашевского, когда прекратил посещения этих собраний и какое принимал в них участие?

[*Ответ.*] Я не помню, чтобы я когда-нибудь встретил г-на Салтыкова у Петрашевского. Бывши очень мало знакомым с г-ном Салтыковым, я ничего не знаю и об отношениях его к Петрашевскому. От Петрашевского-же я тоже не слышал ни слова о г-не Салтыкове.

[*Вопрос.*] Не известно ли вам, в каких сношениях был с Петрашевским, участвовавший в заговоре, бывшем в Киевском Университете, Яшвиль, где он ныне находится и в каком звании?

[*Ответ.*] Я совершенно ничего не знаю о г-не Яшвиле, первый раз слышу о нем равно как и о заговоре, бывшем в Киевской губернии. Ничего не знаю об отношениях к нему Петрашевского.

*ИЗ ДЕЛА О КОЛЛЕЖСКОМ СЕКРЕТАРЕ МИЛЮКОВЕ

(Ч. 101)

[*Вопрос.*] Какое участие г-н Милюков принимал на собраниях у Дурова и часто ли посещал он эти собрания?

[*Ответ.*] Г-н Милюков, на вечерах Дурова был как и все гости. Так как он сам литератор, то знакомство его с Дуровым и с обществом, которое собиралось у Дурова, было литературным знакомством. Милюкова, [все кажется] казалось мне, все любили за веселый и добродушный характер; сверх того он мастер рассказывать анекдоты—и вот его главные особенности. Раз он как-то сказал, не помню, к какому разговору, что у него есть переложение известной статьи Ламене на Славянский язык. [ибо и *нрзб.*] Это показалось странным и любопытным, и его просили показать. Милюков наконец принес ее и прочел. Когда Филипов сделал свое предложение, Милюков хотя сначала и принимал участие в общих толках, по живости своего характера, но, как показалось мне, испугался второго предложения о литографии. Это я заключаю из двух воспоминаний: 1-е то, что он перестал совсем говорить об этом, тогда как еще продолжались толки и даже не был в один из этих [*нрзб.*] вечеров у Дурова; равно как и на обеде у Спешнева, не смотря на приглашение. Последнее обстоятельство мне памятно потому, что я помню, как все спрашивали: „Где Милюков и отчего не пришел?“ 2-е то, что я слышал, и, кажется, через достоверных людей, [будто] как сам Милюков говорил, что он отстает от предложения Филипова, [мне кажется] и что оно ему не нравится. Все это было еще до моего предложения (против Филипова). Мне кажется, что Милюков хотел тоже [*нрзб.*] совсем перестать ездить на вечера

Дурова. Это по всему было видно, а главное [тем] из того, что он перестал являться [на вечера] в последнее время. Но тут нас арестовали и я не имел случая [докончить] поверить моих наблюдений.

[Вопрос.] Какое г. Милюков принимал участие на собраниях у Дурова и Плещеева?

[Ответ.] Милюков на собраниях у Плещеева не выказался ни с какой особенной стороны, кроме того, что он человек веселый, умеет хорошо рассказывать и заставить себя слушать. У Дурова, как известно, он прочел свой перевод Ламене.

*** ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ ПОВЕЛЕНИЙ И ДРУГИХ БУМАГ,
ОТНОсяЩИХСЯ ДО ЛИЦ, ПРИКОСНОВЕННЫХ К ДЕЛУ,
А ТАКЖЕ ДО ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ДОПРОСОВ**

(Ч. 119)

[*Вопрос.*] Часто-ли г. г. Безобразов и Пальчиков посещали собрания у Плещеева и какое они принимали на них участие?

[*Ответ.*] Г-на Пальчикова я не встречал ни разу у Плещеева. А г. Безобразов был один раз. Он оставался с полчаса и принимал такое-же участие как и все, [то есть был только] приглашенные на чай. Он ничем не кинулся мне в глаза и потому я не могу сказать о нем ничего необыкновенного.

[*Вопрос.*] Как имя и отчество г. Витковского, посещавшего собрания Петрашевского, какого звания, где служит и имеет жительство, а также не известно-ли вам, с которых пор он начал посещать эти собрания, и когда посещения прекратил?

[*Ответ.*] Я никогда не знал г-на Витковского, ничего не слышал об нем и теперь только в первый раз о нем слышу. По этому случаю не могу сказать бывал-ли он у Петрашевского.

Мне помнится, что я сказал в одном из моих ответов, что несколько лиц, бывавших у Петрашевского [мне] были мне совсем незнакомы, так что я даже не знаю их фамилии. [Не принадлежит] Может быть и господ. Витковский принадлежит к числу этих лиц? Впрочем, повторяю, о господ. Витковском я решительно ничего не знаю.

[*Вопрос.*] Какой имеет чин Владимир Кайданов, где он служит и имеет жительство; а также часто ли он посещал собрания Петрашевского и Дурова и какое принимал участие в этих собраниях?

[*Ответ.*] Я знаю одного г. Кайданова, которого встречал у Петрашевского, но не знаю как его имя, равно как ни его чина, ни места его службы. Он, кажется, воспитывался вместе с Петрашевским в лицее и знаком с ним как товарищ. У Петрашевского он бывал не часто, много что один раз в месяц; так, по крайней мере, мне помнится. В общих разговорах он не принимал никогда участия и всегда сидел в другой комнате за книгой или с кем-нибудь из коротких знакомых своих, тогда как в зале говорили. [Что-же ка Но] У Дурова он никогда не был ни на одном вечере и [*нрзб.*] я думаю, что они совсем незнакомы.

[*Вопрос.*] Объясните, часто ли посещали собрания Петрашевского и с которого времени нижепоименованные лица; а также имена, отчества и звания их, где служат и имеют жительство?

[*Ответ.*] Вернацкий. Никогда не слышал об этой фамилии у Петрашевского, и никогда не встречал у него г-на Вернацкого.

Авдеев. Такого лица совсем не знаю; [а] также не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Стальницкий. Не знаю ни г-на Стальницкого, ни о том был ли он знаком с Петрашевским.

Григорьев. Имени и отчества не припомню. Чина тоже. Служит, кажется, в Лейб-Гвардии Драгунском полку. [Бывал у] Видал я его у Петрашевского всего раза четыре. Он знаком с [ним] Петрашевским [кажется], помнится, с Января месяца 1849 года. Живет в Гороховой, близ Семеновского моста, в доме Севастьянова.

Ратовский. Ничего не знаю ни о господ. Ратовском, ни о том был-ли он знаком с Петрашевским.

Степанов. Никогда не знал ни г-на Степанова, ни о том был-ли он знаком с Петрашевским.

Аслан. Не знаю г-на Аслана. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Гренков. Не знаю г-на Гренкова. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Полянский. Не знаю г-на Полянского. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Мотрашенко. Не знаю г-на Мотрашенко. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Михайлов. Знаю г-на Михайлова только по фамилии; ни чина, ни имени не помню. Не знаю ничего [нрзб.] о времени его знакомства с Петрашевским, но кажется видел его у Петрашевского один раз прошлого года. Впрочем наверно не помню. Где живет не знаю.

Макеев. Не знаю г-на Макеева. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Стасов 1-й. Никогда не слышал о знакомстве г-на Стасова 1-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

Стасов 2-й. Никогда не слышал о знакомстве г-на Стасова 2-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

Сипко. Не знаю г-на Сипко; не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Сундуков 1-й. Не знаю г-на Сундукова 1-го. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Сундуков 2-й. Не знаю г-на Сундукова 2-го. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Назаров. Не знаю г-на Назарова. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Петров. Не знаю г-на Петрова. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Взметнев. Не знаю г-на Взметнева. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Бурнашев. Не знаю г-на Бурнашева. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Петр Петрович Семенов. Не знаю г-на Семенова. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

Лукин (Учитель) Василий Васильевич. Не знаю г-на Лукина. Не знаю был-ли он знаком с Петрашевским.

ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР- ПОРУЧИКЕ ФЕДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

По донесениям агента, Достоевский обвинялся в том, что был на вечерах у титулярного советника Буташевича-Петрашевского 1 и 15 апреля сего 1849 года, на которых рассуждалось о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства, об освобождении крестьян и читана им Достоевским переписка Гоголя с Белинским, из коей письмо последнего к Гоголю исполнено дерзкого вольнодумства.

Из обвиняемых лиц показали: Момбелли и Ахшарумов, что Достоевский был и на том вечере у Петрашевского (в декабре 1848 года), когда Тимковский читал речь, в которой (как показывает Момбелли) Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде; потом предполагал разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма, и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых. Впечатление, произведенное чтением Тимковского, было самое грустное.

Студент Филиппов показал, что Достоевский в числе других посещал вечера Дурова, на которых разговоры с марта 1849 года начали принимать политический характер, чему начало положили: Момбелли чтением рассуждения о том, что все они, более или менее с одинаковым направлением и образом мыслей, должны теснее сближаться между собою, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в этом направлении и успешнее поддерживать свои идеи

в общественном мнении, и сам он, Филиппов, тем, что предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, вменив себе в обязанность распространять свои мнения и представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов, все злоупотребления и недостатки в организации нашей администрации. Когда же, в другой раз у Дурова он, Филиппов, прочел рукопись из слова верующего соч. Ламене, а Достоевский переписку Гоголя с Белинским, и присутствовавшие пожелали иметь с этой рукописи списки, то предложено было завести домашнюю литографию, но Достоевский убедил всех, что мысль эта безрассудна. Сверх того, у него же, Дурова, говорили, что учителя в учебных заведениях должны стараться читать сколько возможно в либеральном духе.

Помещик Спешнев — что на обеде у него в то время, когда Григорьев читал статью преступного содержания, под названием: „Солдатская беседа“, в числе прочих был и Достоевский.

Сверх того Спешнев показал, что Достоевский посещал и вечера Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием „Петербург и Москва“ и рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги.

В бумагах Достоевского найдены: 1) Письмо к нему от Плещеева, присланное из Москвы, в котором Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, Пальма и Щелкова, а им трем — в особенности, и упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве, в следующих выражениях: „Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, желают, чтобы они скорее уехали. Даже народ как то не изъявляет особенной симпатии“ и т. д. 2) Записка от Белинского, заключающая в себе приглашение Достоевского в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, и 3) Две запрещенные книги под заглавиями: одна *Le Berger de Kravan*, а другая *La célébration du dimanche*.

Достоевский показал, что он знаком с Петрашевским три года и сначала бывал у него редко, а в последующую зиму стал ходить к нему чаще и принимал участие в разговорах

и споре. Если обвиняют его, Достоевского, в том, что он говорил о политике, о Западе, о литературе и проч., то кто же ни говорил и ни думал в наше время об этих вопросах. Зачем же он учился, зачем наукою в нем возбуждена любознательность, если он не имеет права сказать своего личного или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно. Но из этого нельзя выводить, что он, Достоевский, вольнодумец и противник самодержавия; напротив, для него никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России. Говоря о цензуре и ее непомерной строгости в наше время, он, Достоевский сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое то недоразумение, из которого вытекает натянутый, тяжелый для литературы, порядок вещей. Ему грустно было, что звание писателя в наше время уничтожено каким то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит, как-будто на какого то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись с очевидным предубеждением. Однако он, Достоевский, никогда не говорил об этом у Петрашевского и теперь хотел только высказать образ своих идей. Письмо Белинского к Гоголю он прочел на собрании у Петрашевского, как литературный памятник, замечательный для него, Достоевского, по короткому знакомству с Белинским, вызвавшись на это сам при свидании с Петрашевским у Дурова, от чего он после уже не мог отказаться. Но он твердо был уверен, что это письмо, наполненное ругательствами, написанное желчью и потому отвращающее сердце, никого в соблазн привести не может. Впрочем, теперь понимает, что сделал ошибку, прочитав эту статью вслух, чего делать ему не следовало.

На вечерах у Петрашевского он, Достоевский, слышал, что Петрашевский говорил о пользе, которую приносит цензура, вычеркивая из сочинений всю нелепость, и о том, что если бы цензура была уничтожена, то явилось бы множество людей, влекомых легкими страстями, которые будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели, им всем любезной, он же, Достоевский, доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного.

Головинский с увлечением говорил, что идею каждого должно быть освобождение крестьян, этих угнетенных

страдальцев; но что правительство не может этого сделать потому, что освободить их без земель нельзя, и что он, Головинский, признает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения, но это он выражал как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. В опровержение Головинского Петрашевский объяснял, что при освобождении крестьян непременно должно произойти столкновение сословий, которое, будучи, бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный, что реформы юридическая и цензурная необходимы прежде крестьянской и вычислял даже преимущества крепостного сословия пред вольным, при нынешнем состоянии судопроизводства, объясняя, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы цель его, т. е. справедливость, это судопроизводство публичное *jure*, но требовать перемены в судопроизводстве не следует, а должно всеподданнейше просить об этом, потому что правительство и отказавши и удовлетворивши в просьбе сословию, поставит себя в худшее положение; отказавши в просьбе, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед, исполнивши просьбу, оно ослабит и себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед.

О речи, читанной Тимковским, на собраниях у Петрашевского, Достоевский показал, что она написана горячо, и видно было, что Тимковский старался угодить на все вкусы. Она занимала два или три вечера, но он, Достоевский, был только на двух из этих вечеров; Тимковский говорил о Фурье с большим уважением, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха, убеждаясь впрочем в невозможности применения оной немедленно; увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы ни держался, и в то же время оговаривал, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества; наконец просил присутствовавших изъявить ему симпатию, если он заслужил ее. Впечатление, произведенное Тимковским, было двусмысленно: некоторые

смотрели на него с насмешливым любопытством, а некоторые скептически, не верили его искренности; впрочем, все обошлось с ним весьма учтиво.

О вечерах Дурова Достоевский объяснил, что, посещая их сам, он ввел туда Филиппова и Спешнева. Эти вечера были сначала литературные, а потом изменили свой характер, когда Филиппов сделал предложение литографировать мимо цензуры сочинения, которые могли быть написаны кемнибудь из их кружка. Но предложение это почти все приняли весьма дурно и все, сознавая, что зашли далеко, хотели отвергнуть оное, только не прямо, а как-нибудь косвенным образом; сам же Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, он, Достоевский, попросив, чтобы его выслушали, отговорил всех, стараясь действовать в своей речи легкою насмешкою, и все как-будто ожидали этого, и тотчас же предложение Филиппова было отвергнуто. После того собирались к Дурову только один раз, после светлой недели, а затем вечера его вовсе были прекращены. Речей на этих вечерах, кроме его, Достоевского, никто не говорил и он сказал только одну речь, а читали: Милюков перевод свой из „Paroles d'un croyant“; он, Достоевский, по получении переписки Белинского с Гоголем, прочитал ее сначала Дурову и Пальму до обеда, а потом, оставшись пить чай, по приезде к Дурову Момбелли, Львова и братьев Ламанских прочел ее в другой раз, будучи под влиянием первого впечатления.

На вопрос о том, что Момбелли предложил о теснейшем сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга, тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, Достоевский показал, что в начале вечеров Дурова, Момбелли действительно стал говорить что то подобное, но не докончил, потому что его прервали на половине и занялись музыкою. Момбелли засмеялся и тут же согласился, что начал говорить некстати. После этого о словах его не было уже помину, и общество надолго осталось чисто литературно-музыкальным.

Об обеде Спешнева Достоевский показал, что он был на этом обеде и слышал чтение Григорьевым статьи преступного содержания под названием „Солдатская беседа“, но впечатление, произведенное ею, было очень слабое, потому что

все почти не желали подобных чтений, и Спешнев, которому навязали сделать этот обед, по предложению Момбелли, решительно объявил, что ему неудобно звать к себе в другой раз.

На вопрос о вечерах Плещеева Достоевский показал, что у него постоянных вечеров никогда не было, а только изредка он звал к себе на чай. На этих вечерах был он, Достоевский, в продолжение зимы не более 3-х раз, и как они были обыкновенными приятельскими собраниями и особенной цели не имели, то не было и особого направления их. Статья: „Петербург и Москва“ действительно один раз была прочитана, но не для возмутительных целей и без предварительного намерения, а случайно, кажется, потому, что попалась под руку как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя бездна и парадоксов; смотрели же на нее с точки зрения чисто литературной. Сверх того, один раз, за год слишком пред этим, он, Достоевский, зашел к Плещееву в 11 часов вечера и встретил у него Данилевского и Спешнева. В это время действительно было сказано несколько слов о возможности печатать за границей, но ему, Достоевскому, тогда же показалось это невозможным по многим причинам, и за тем разговор об этом предмете остался без всяких последствий, и никогда уже не возобновлялся.

Относительно найденных в бумагах его, Достоевского: записки от Белинского, заключающей в себе приглашение его в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, и двух запрещенных книг, он, Достоевский, объяснил, что о записке он решительно ничего не может припомнить, а, вероятно, она написана была в первые дни знакомства его с Белинским, который, если и приглашал его куда-нибудь, то не на собрание, а в гости к какому-нибудь литератору. Запрещенные же книги взяты им, Достоевским: одна у Григорьева, а другая у Головинского. На вопрос, с которых пор и по какому случаю проявилось в нем, Достоевском, либеральное или социальное направление, он показал, что весь либерализм его состоял в желании всего лучшего своему отечеству. Это желание началось с тех пор, как он стал понимать себя, и росло в нем более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Он всегда верил в правительство и самодержавие, однако же не осмеливается сказать, что никогда

не заблуждался в своих желаниях, которые, в отношении усовершенствования и общей пользы, быть-может, очень ошибочны, так что исполнение их послужило бы ко всеобщему вреду, а не к пользе. Может-быть, ему удавалось иногда выражать свое мнение с излишнею горячностью или даже горечью, но это было минутами. Злобы и желчи в нем никогда не было, и к тому же его всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала ему добрый путь и сберегала его от пагубных заблуждений. Он желал улучшений и перемен и сетовал о многих злоупотреблениях, но вся основа его политической мысли была — ожидать этих перемен от самодержавия. Он хотел, чтобы не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда, и потому изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором знающие более, объясняли о возможности некоторых перемен и улучшений. Что касается до социального направления, то он никогда не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы и с большим любопытством следил за переворотами западными.

Вся эта ужасная драма сильно занимала его, во-первых, как драма, во-вторых, как важный факт, могущий возбудить любопытство, в-третьих, как история и в-четвертых, во имя человеколюбия; ибо настоящее положение Запада крайне бедственное. Он говорил иногда о политических вопросах, но редко, или почти никогда вслух и допускал историческую необходимость настоящего переворота на Западе, в ожидании лучшего. Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, и так как все (социальные) книги написаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовью к отечеству, то он, Достоевский, читал их с любопытством, но от этого он не принадлежит ни к какой социальной системе, будучи уверен, что применение их не только в России, но даже во Франции, поведет за собою неминуемую гибель.

Достоевский, по показанию его, 27 лет, воспитывался в Главном инженерном училище на собственный счет, поступил на службу в 1843 году в чертежную Инженерного департамента; вышел в отставку в 1844 году, с чином поручика.

Статский советник *Шмаков*.

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА

ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР-ПОРУЧИКЕ ДОСТОЕВСКОМ

Подсудимый Достоевский, 27 лет, из дворян; поступил в кондукторскую роту Главного инженерного училища кондуктором в январе 1838 г., произведен в офицеры в августе 1841 г. с оставлением в училище для продолжения наук в офицерских классах, произведен по экзамену в подпоручики в августе 1842 г., выпущен из училища с назначением в чертежную Инженерного департамента в августе 1843 г., а в октябре 1844 г. уволен от службы в отставку с чином поручика. По показанию Достоевского, он занимался литературою, участвуя в некоторых журналах.

По донесению агента, подсудимый Достоевский был на собраниях у Петрашевского 1 и 15 апреля. На первом собрании рассуждалось о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и освобождении крестьян, а на собрании 15 апреля сам Достоевский читал переписку литераторов Гоголя и Белинского, где Белинский, разбирая положение России и народа, говорит в неприличных и дерзких выражениях о православной религии, о судопроизводстве, законах и властях. Письмо это заслужило восторженное одобрение общества и положено было распространить оное в нескольких экземплярах.

Из лиц, спрошенных по сему предмету, подсудимые Ахшарумов, Тимковский, Ястржембский и Филиппов показали, что Достоевский действительно читал на собрании у Петрашевского означенную переписку Белинского и Гоголя; причем из них Филиппов присовокупил, что эту переписку он писал с рукописи Достоевского, который дал ее ему за не-

сколько времени перед тем и просил хранить в секрете, а впоследствии взял обе рукописи себе.

Кроме того подсудимые Момбелли и Ахшарумов показали, что Достоевский был и на том вечере у Петрашевского (в декабре 1848 г.), когда подсудимый Тимковский читал речь, в которой, по показанию Момбелли, рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде, потом предлагал разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам, и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых.

Подсудимый Достоевский при первоначальном расспросе следственной комиссией показал, что он никогда не был в коротких отношениях с Петрашевским, хотя и бывал у него по пятницам, равно и Петрашевский в свою очередь делал ему визиты. Впрочем, он, Достоевский, бывал на вечерах Петрашевского не столько для него, сколько для встречи с некоторыми людьми, которых видел очень редко и которые нравились ему. В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, он, Достоевский, был у Петрашевского не более восьми раз. Его всегда поражали странности в характере Петрашевского, и он, Достоевский, слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, нежели благоразумия. Рассматривая Петрашевского с политической стороны, трудно сказать, чтобы он имел какую-нибудь свою определенную систему в суждении, или определенный взгляд на политические события. Он, Достоевский, заметил в нем последовательность только одной системе Фурье и это именно, как полагает, мешает ему смотреть на вещи самобытным взглядом. Что касается общества, собиравшегося у Петрашевского по пятницам, то в нем он, Достоевский, не встретил никакого единства, никакого направления или общей цели и положительно может сказать, что нельзя было найти там трех человек, согласных в каком-нибудь пункте на любую заданную тему. От этого происходили споры друг с другом, вечные противоречия и несогласия в мнениях, при чем в некоторых из этих споров принимал участие и он, Достоевский. Он говорил у Петрашевского три раза, два — о литературе и один раз — о предмете

вовсе не политическом: „О личности и человеческом эгоизме“, и не припомнит, чтоб было в словах его что-нибудь политическое и вольнодумное. Если же желать лучшего есть либерализм, то в этом смысле он, Достоевский, может быть, вольнодумец точно так же, как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству, потому что находит в себе и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Далее Достоевский объяснил, что если его обвиняют в том, что он говорил о политике, о Западе, о цензуре и пр., то кто же ни говорил и ни думал в наше время об этих вопросах. Зачем же он учился, зачем наукою в нем возбуждали любознательность, если [он] не имеет права сказать своего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно. Но из этого нельзя выводить, что он вольнодумец и противник самодержавия; напротив, для него, Достоевского, никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России, и всем, кто знает его, известны об этом мысли его. Говоря о цензуре, об ее непомерной строгости в наше время, он, Достоевский, сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Ему грустно было, что звание писателя уничтожено в наше время каким-то темным подозрением, и что на писателя уже заранее, прежде, чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как-будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукописи уже с очевидным предубеждением. Однако он, Достоевский, никогда не говорил об этом у Петрашевского.

Относительно статьи—переписка Белинского с Гоголем,—подсудимый Достоевский объясняет, что точно читал ее на одном из вечеров Петрашевского, но при этом не только в суждениях его, но даже в интонации голоса или жеста во время чтения не было ничего, способного выказать пристрастие к которому-либо из переписывавшихся. Письмо Белинского написано слишком странно, чтобы возбудить к себе сочувствие; оно наполнено ругательствами, написано желчно и потому отвращает сердце; читал же оное, как замечательнейший литературный памятник, будучи уверен, что письмо то не может привести никого в соблазн.

На предложенные следственной комиссией письменные вопросы подсудимый Достоевский объяснил, что он знаком с Петрашевским три года и сначала бывал у него редко, а в последнюю зиму стал ходить чаще и принимал участие в разговорах и споре, и что означенную переписку Белинского с Гоголем прочел у Петрашевского, сам вызвавшись на это при свидании с Петрашевским у Дурова, отчего впоследствии не мог отказаться.

Кроме того, подсудимый Достоевский, на спрос следственной комиссии противу вышеизложенных донесений агента и свидетельских показаний, объяснил, что на вечерах у Петрашевского, он, Достоевский, слышал, что Петрашевский говорил о пользе, которую приносит цензура, вычеркивая из сочинений всю нелепость, и о том, что если бы цензура была уничтожена, то явилось бы множество людей, влекомых личными страстями, которые будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели; он же, Достоевский, доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного. Подсудимый Головинский с увлечением говорил, что идеею каждого должно быть освобождение крестьян, этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может этого сделать, потому что освободить их без земель нельзя, и что он, Головинский, признает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения; впрочем он выражал это, как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. В опровержение Головинского, Петрашевский объяснял, что при освобождении крестьян непременно должно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный; что реформы юридическая и цензурная необходимы прежде крестьянской, и вычислял даже преимущество крестьянского сословия пред вольным, при нынешнем состоянии судопроизводства, объясняя, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы справедливость, это судопроизводство публичное —

jury; но требовать перемены в судопроизводстве не следует, а должно всеподданнейше просить об этом потому, что правительство, и отказавши и удовлетворивши в просьбе сословию, поставит себя в худшее положение: отказавши в просьбе, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед; исполнивши просьбу, оно ослабит себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед.

О речи, читанной Тимковским на собраниях у Петрашевского, в которой, как выше изложено, Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде и предлагал учредить фурьеристические кружки, подсудимый Достоевский показал, что она написана горячо, и видно было, что Тимковский старался угодить на все вкусы. Она занимала два или три вечера, но он, Достоевский, был только на двух из этих вечеров. Тимковский говорил о Фурье с большим уважением, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха, убеждаясь, впрочем, в невозможности применения оной немедленно; увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы ни держался, и в то же время оговаривал, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества.

Сверх того из числа подсудимых в отношении действий Достоевского показали:

Студент Филиппов, — что подсудимый Достоевский посещал вечера коллежского асессора Дурова, из коих на одном Момбелли читал рассуждение о том, что все они более или менее с одинаковым направлением и образом мыслей; должны теснее сближаться между собою, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в этом направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, а сам он, Филиппов, предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, вменив себе в обязанность распространение своих мнений, и представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов, все злоупотребления и недостатки в организации нашей администрации. В другой же раз он, Филиппов, прочел рукопись из „Слова верующего“, сочинение Ламене, а Достоевский — переписку Гоголя с Белинским, и когда присутствовавшие пожелали иметь с этой рукописи списки, то предложено было завезти домашнюю

литографию; но Достоевский убедил всех, что мысль эта безрассудна.

Помещик Спешнев, — что на обеде у него, в то время, когда Григорьев читал статью преступного содержания, под названием „Солдатская беседа“, в числе прочих был и Достоевский и что, кроме того, Достоевский посещал и вечера подсудимого Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием „Петербург и Москва“, и рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги.

Коллежский ассессор Дуров и поручик Пальм, — что Достоевский, в бытность на вечерах Дурова, читал переписку Белинского и Гоголя, о других же действиях его они не объясняют.

При допросе противу сего подсудимый Достоевский показал, что действительно он посещал вечера Дурова и ввел туда подсудимых Филиппова и Спешнева. Эти вечера сначала были чисто литературные и музыкальные, а потом изменили свой характер, когда Филиппов сделал предложение литографировать мимо цензуры сочинения, которые могли быть написаны кем-нибудь из их кружка. Но предложение это почти все приняли весьма дурно и все, сознавая, что зашли далеко, хотели отвергнуть оное, только не прямо, а как-нибудь косвенным образом, сам же Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, он, Достоевский, попросив, чтоб его выслушали, отговорил всех, стараясь действовать в своей речи легкую насмешкою, и все как будто ожидали этого, и тотчас же предложение Филиппова было отвергнуто. После того собирались к Дурову только один раз, после святой недели, а затем вечера его вовсе были прекращены. Речей на этих вечерах, кроме его, Достоевского, никто не говорил, и он сказал только одну речь, а читали: Милюков — перевод свой из „Paroles d'un croyant“, и он, Достоевский, по получении переписки Белинского с Гоголем, прочитал ее сначала Дурову и Пальму до обеда, а потом оставшись пить чай, по приезде к Дурову Момбелли, Львова и других, прочел ее в другой раз, будучи под влиянием первого впечатления.

На вопрос о том, точно ли из подсудимых Момбелли на вечере у коллежского ассессора Дурова предложил о теснейшем

сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, Достоевский показал, что в начале вечеров Дурова Момбелли действительно стал говорить что-то подобное, но не докончил, потому что его прервали на половине и занялись музыкою. Момбелли засмеялся и тут же согласился, что начал говорить некстати. После этого о словах его не было уже помину, и общество надолго осталось чисто литературным.

Об обеде Спешнева Достоевский показал, что он точно был на этом обеде и слышал чтение Григорьевым статьи преступного содержания под названием „Солдатская беседа“; но впечатление, произведенное ею, было очень слабое, потому что все почти не желали подобных чтений, и Спешнев, которому навязывали сделать этот обед, по предложению Момбелли, решительно объявил, что ему неудобно звать к себе в другой раз.

В отношении вечеров Плещеева, Достоевский показал, что у него постоянных вечеров никогда не было, а только изредка он звал к себе на чай. На этих вечерах был он, Достоевский, в продолжение зимы не более трех раз, и как они были обыкновенными, приятельскими собраниями и особенной цели не имели, то не было и особого направления их. Статья „Петербург и Москва“ действительно один раз была прочитана, но не для возмутительных целей и без предварительного намерения, а случайно, кажется, потому, что попала под руку, как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя бездна и парадоксов; смотрели же на нее с точки зрения чисто литературной. Сверх того один раз, за год слишком пред этим он, Достоевский, зашел к Плещееву в 11 часов вечера и встретил у него Данилевского и Спешнева. В это время действительно было сказано несколько слов о возможности печатать за границею; но ему, Достоевскому, тогда же показалось это невозможным по многим причинам, а затем разговор об этом предмете остался без всяких последствий и никогда уже не возобновлялся.

При арестовании подсудимого Достоевского, в бумагах его были найдены:

1) Письмо к нему от Плещеева, присланное из Москвы, в котором Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, и упоминает

о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве.

2) Записка от Белинского, заключающая в себе приглашение Достоевского в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком.

3) Две запрещенные книги под заглавиями: одна *Le Berger de Kravan*, и другая *La célébration du dimanche*.

Подсудимый Достоевский показал, что о записке от Белинского, заключающей в себе приглашение его в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, он решительно ничего не может припомнить, а вероятно она написана была в первые дни знакомства с Белинским, который, если и приглашал его куда-нибудь, то не на собрание, а в гости к какому-нибудь литератору. Запрещенные же книги взяты им, Достоевским, от знакомых.

В заключение своих показаний в следственной комиссии подсудимый Достоевский объяснил, что весь либерализм его состоял в желании всего лучшего своему отечеству. Это желание началось с тех пор, как он стал понимать себя, и росло в нем более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Он всегда верил в правительство и самодержавие: однако же не осмеливается сказать, что никогда не заблуждался в своих желаниях, которые в отношении усовершенствования и общей пользы, быть может, очень ошибочны, так что исполнение их послужило бы к всеобщему вреду, а не к пользе. Может быть, ему удавалось иногда выражать свое мнение с излишнею горячностью, или даже горечью, но это было минутами. Злобы и желчи в нем никогда не было и к тому же им всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала ему добрый путь и сберегала его от пагубных заблуждений. Он желал улучшений и перемен и сетовал о многих злоупотреблениях, но вся основа его политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Он хотел, чтобы не был заглушен ничей голос, и чтобы выслушана была, по возможности, всякая нужда, и потому изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором знающие более объясняли о возможности некоторых перемен и улучшений. Социалистом же никогда не был, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы и с большим любопытством следил за переворотами западными.

ПОДПИСКА ДОСТОЕВСКОГО В ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ

Вопрос. Отставному Инженер-Поручику Достоевскому.

Высочайше учрежденная для суждения Вас по полевым военным законам военно-судная комиссия предлагает Вам объяснить: не имеете ли Вы, в дополнение данных уже Вами при следствии показаний еще чего-либо к оправданию своей вины представить?

Ответ. — К оправданию своему не имею представить ничего нового, кроме разве того, что я никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства — что я сделал, было сделано мною необдуманно и [*зачерк.:* почти] многое почти нечаянно, так н.прим. чтение письма Белинского. Если же когда-нибудь я что сказал свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять меня и знали в каком смысле я говорю. Но распространения моих [*зачерк.:* мыслей] сомнений, я всегда убежал.

Федор Достоевский.

ПОКАЗАНИЯ НА СУДЕ

В военном суде подсудимый Достоевский, подтверждая прежние свои показания, к оправданию своему присовокупил, что он никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства, что все сделанное им было необдуманно, а многое сделано почти нечаянно, как, напр., чтение письма Белинского, что если он когда-нибудь сказал что-либо свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять его и знали, в каком смысле он говорил, и что распространения своих мнений он всегда избегал.

ПРИГОВОР СУДА

Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского — читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием „Солдатская беседа“. А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить, на основании Свода Военных постановлений ч. V кн. 1 ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177 и 178, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА

..... Действия каждого из подсудимых заключаются в следующем...

13. Об отставном инженер-поручике Федоре Достоевском (27 лет):

Поручик Достоевский, по собственному сознанию, посещая собрания Петрашевского три года, слышал происходившие там преступные суждения, между прочим, об освобождении крестьян, об изменении порядка судопроизводства, и сам принимал участие при разговорах о строгости цензуры, а на одном собрании, в марте сего 1849-го года, прочел полученное им из Москвы от подсудимого Плещеева письмо литератора Белинского к Гоголю, наполненное дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти. После того, встретив одобрение этому письму, Достоевский читал оное на собраниях Дурова и потом передал его для списания копии подсудимому Момбелли. На тех же собраниях Дурова он слышал чтение других либеральных статей, знал о предположении завести домашнюю литографию для распространения статей против правительства и, наконец, был на обеде у подсудимого Спешнева в то время, когда подсудимый Григорьев читал возмутительное свое сочинение, под названием: „Солдатская беседа“.

При следствии Достоевский, сознаваясь, что он точно участвовал в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений, отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства, письмо же Белинского читал на собраниях, как литературный памятник, будучи уверен, что оно не может никого привести в соблазн...

Степень виновности их, по обнаруженным личным действиям в преступных замыслах, заключается в следующем:...

10. Отставной инженер-поручик Достоевский (литератор) посещал собрания Петрашевского и принимал участие в происходивших там преступных разговорах, а в марте месяце сего года, получив из Москвы от подсудимого Плещеева копию с преступного письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против верховной власти и православной церкви, читал это письмо в собраниях у Дурова и Петрашевского и наконец передал его для списания копии подсудимому Момбелли, на собраниях у Дурова участвовал в совещаниях о том, чтобы писать статьи против правительства и распространять их посредством домашней литографии, наконец был у подсудимого Спешнева на обеде, когда там читана была статья возмутительного содержания поручика Григорьева, под заглавием: „Солдатская беседа“...

Заключение генерал-аудиториата 19 декабря 1849 года.

Генерал-Аудиториат, объяснив существо вины каждого из поименованных подсудимых, заключает, что хотя степень виновности их различная, ибо одни из них более, другие менее принимали участие в злоумышлении, но как все они суждены по Полевому Уголовному Уложению, в преступлениях же государственных, по точной силе наших законов, не постановлено различия между главными виновниками и соучастниками, то на основании сего Уложения, Генерал-Аудиториат полагает: всех сих подсудимых, а именно титулярного советника Бутаевича-Петрашевского, неслужащего дворянина Спешнева, поручиков Момбелли и Григорьева, штабс-капитана Львова 2-го, студента Филиппова, кандидата Ахшарумова, студента Ханькова, коллежского асессора Дурова, отставного поручика Достоевского, коллежского советника Дебу 1-го, коллежского секретаря Дебу 2-го, учителя Толля, титулярного советника Ястржембского, неслужащего дворянина Плещеева, титулярного советника Кашкина и Головинского, поручика Пальма, титулярного советника Тимковского, коллежского секретаря Европеуса и мещанина Шапошникова подвергнуть смертной казни расстрелянием.

Генерал-Аудиториат, определив меру наказания подсудимым на основании Полевых Военных законов, не мог однако же не принять в уважение тех облегчительных обстоятельств, которые представляются по делу к смягчению участи осужденных, именно: признаки раскаяния многих из них, добровольное сознание при следствии в таких поступках, кои без их откровенности могли бы оставаться неизвестными, юность лет при увлечении в злонамеренные замыслы и наконец то, что преступные их начинания не достигли вредных последствий, быв своевременно предупреждены мерами со стороны правительства. ~

Посему, повергая участь подсудимых монаршему милосердию вашего императорского величества, Генерал-Аудиториат, на основании правил, в руководство ему данных, осмеливается всеподданнейше ходатайствовать об определении им вместо смертной казни наказания по мере вины, в следующей постепенности: ...

7. Отставного поручика Достоевского, за такое же участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на восемь лет.

Резолюция Николая I:

НА ЧЕТЫРЕ ГОДА, А ПОТОМ РЯДОВЫМ.

ПРЕДПИСАНИЕ О ВЫСЛАКЕ ДОСТОЕВСКОГО И ДР.

Коменданту
СПБ. Крепости
Декабря 24 дня 1849 г.
№ 523

Г. Смотрителю Алексеевского
равелина

В исполнение Высоч. е. и. в. конфирмации предлагаю Вашему Высокоблагородию содержащихся в Алексеевском равелине преступников Дурова, Достоевского и Ястржембского, назначенных к отправлению сего числа вечером в Тобольск закованными выдать их назначенному для сопровождения поручику фельдъегерского корпуса Прокофьеву и из списков об арестованных по равелину исключить.

Г. Генералу-Андрейскому, Графу Орлову

Копией именной Его Императорского Высочайшего
повеления.

Рапортъ

Содержавшийся въ с. Пбуржской крепости
преступники: во исполнение Высоч. Его Императорского
Величества, конфирмации, поименованных въ
справке объ арестантахъ, сего числа Высочайше
отправлены: Дуровъ, Достоевский
и Александровский, въ Тобольскъ, Заковский
и въ Порциномъ фельдшерского
Корпуса Прохоровичъ, при 5^х канцар-
машинъ, Плещеевъ въ Оренбургъ, съ пра-
порщикомъ фельдшерского Корпуса
Александровъ, и Александровъ, въ Турскъ,

РАПОРТ ОБ ОТПРАВКЕ ДОСТОЕВСКОГО

№ 448

31 января 1850 г.

К о п и я

Г. Генерал-адъютанту графу Орлову

Коменданта С.-ПБургской крепости

Рапорт

Содержавшиеся в СПбургской крепости преступники: во исполнение высоч. его имп. велич. конфирмации, по исключении из списков об арестантах, сего числа вечером отправлены: Дуров, Достоевский и Ястржембский, в Тобольск, закованные, с поручиком фельдъегерского корпуса Прокофьевым, при 3-х жандармах, Плещеев — в Оренбург, с прапорщиком фельдъегерского корпуса Лейтером, и Ахшарумов, в Херсон, с прапорщиком фельдъегерского корпуса Вирандером, при жандарме, о чем вашему Сиятельству донести честь имею.

Подписал: генерал-адъютант *Набоков*.

Верно: Коллежский секретарь *Васильев*.

№ 522

24 Декабря 1849 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

**СЕКРЕТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (стр. 69—70).**

Печатаем этот приказ об аресте Ф. М. Достоевского, данный майору Чудинову за подписью гр. А. Ф. Орлова по подлиннику, находящемуся в деле III отделения с. е. и. в. канцелярии I экспед. 1849 г. № 214 с надписью на 1-й обложке „Донесения по делу о Буташевиче-Петрашевском и его сотоварищах“ и на 2-й обложке: По розысканию Липранди и донесениям Антонелли о Буташевиче-Петрашевском и его сотоварищах“ — часть 13-я „Об инженер-поручике Федоре Достоевском“ (л. л. 1—2), хранящ. в Архиве Революции и Внешней Политики в Москве.

Орлов сам подписал приказ об аресте. Из этого видно, что аресту петрашевцев придавалось значение как событию огромной политической важности. Из переписки Николая с А. Ф. Орловым того времени видно, что Николай входил во все мелочи, санкционировал все мероприятия по этому делу и Орлов получал у него разрешения на каждый свой шаг. На одной из записок Орлова, представленной царю 21—22 апреля 1849 г., Николай положил характерную резолюцию: „Я все прочел; дело важно; ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо.

Приступить к арестованию, как ты полагаешь“ (см. „Петрашевцы“. сб изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 151—152).

В названном деле III отделения имеется и секретное отношение, адресованное 28 апреля 1849 г. III отделением А. А. Краевскому, как редактору „Отечественных записок“, где печаталась в то время „Неточка Незванова“, след. содержания: „Милостивый государь Андрей Александрович! Получив сведения, что в том № Отечественных Записок, который будет выпущен 1-го мая, уже напечатаны две повести, соч. отставного инженер-поручика Достоевского и подпоручика лейб-гвардии егерьского полка Пальма, я имел честь докладывать об этом генерал-адъютанту графу Орлову.

Его сиятельство изволил отозваться, что повести Достоевского и Пальма, уже рассмотренные и дозволенные к напечатанию цензорами, могут оставаться в упомянутом №, но с тем, чтобы под оными не были означены фамилии сочинителей. Сообщая о сем вам, имею честь удостоверить вас, милостивый государь, в истинном моем почтении и преданности“. Действительно, в майской книге „Отеч. запис.“ 1849 года напечатана 3-я часть „Неточки Незвановой“ („Тайна“), но без фамилии автора (см. „Музей

памяти Ф. М. Достоевского в Московском Историческом Музее 1846—1903 г.г.“ Сост. А. Достоевская. СПб. 1906 г., стр. 34).

ПАЛЬМ, Александр Иванович (1822—1885), поручик лейб-гвардии егерьского п., литератор, драматург. Описал собрания у Петрашевского в романе „Алексей Слободин“. Приятель С. Ф. Дурова, входил в состав кружка Дурова вместе с Ф. М. Достоевским, А. Н. Плещеевым и другими и, по донесению Антонелли, „повидимому, находился в коротких отношениях с литератором Достоевским“ (Дело аудиторiatского департамента военного департамента 1-го стола 4 отделения № 55 за 1849 г. 1849 г., ч. 2, л. 33). Приговорен к расстрелу, по конфирмации переведен поручиком в армию. В майской книге „Отечественных записок“ 1849 года напечатана повесть Пальма „Жак Бичовкин“ (роман, часть 2-я) без фамилии автора.

ВЫПИСКА ИЗ „СПИСКА ЛИЦАМ, ПОСЕЩАВШИМ С 11 МАРТА СЕГО (1849) ГОДА СОБРАНИЯ ПЕТРАШЕВСКОГО ПО ПЯТНИЦАМ“ (стр. 71)

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в ЛОЦИА в деле аудиторiatского департамента военного министерства 1-го стола 4 отделения, 1849, № 55, часть 2-я¹ (л. 32—33) без существенных отличий от известного печатного текста „Списка“ в сборнике „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 25—34. В списке суммированы данные о 34 лицах, арестованных в ночь на 23 апреля 1849 года. Список был составлен 19 апреля 1849 г. в III отделении и приложен к всеподданнейшему докладу шефа жандармов ген.-адъютанта гр. А. Ф. Орлова об аресте Петрашевского и его сообщников. Из переписки Николая I с шефом жандармов А. Ф. Орловым видно, что 21 апреля 1849 года шеф жандармов представил Николаю обзор всего дела, списки участвующих и план их арестов. Эти документы шеф жандармов сопроводил след. запиской: „Посылаю вашему величеству записки об известном деле, из которых вы изволите усмотреть: 1. Обзор всего дела, 2. 3 тетради с именным списком участвующих и с описанием действий каждого из них и с означением их жительства. В обзоре вы изволите усмотреть удобнейшее средство к арестованию виновных“ (Петрашевцы, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 151).

В этом списке, составленном на основании донесений агента П. Д. Антонелли, Ф. М. Достоевский занимает 31 место. За ним поставлен младший брат его Андрей Михайлович Достоевский, которому вменено присутствие на собрании у Петрашевского 18 марта; на самом деле Андрей Михайлович Достоевский никогда у Петрашевского не был, они не были даже знакомы. П. Д. Антонелли напутал: у Петрашевского бывал старший из братьев Михаил Михайлович Достоевский (см. ниже еще о „Братьях Достоевских“). Судя по этому неточному указанию, можно думать, что в списке не совсем точны сведения о посещениях Ф. М. Достоевского 11 и 25 марта пятниц у Петрашевского. Сам Ф. М. Достоевский упорно отрицал факт своих посещений Петрашевского 11 и 25 марта (см. показания его на „Отдельные вопросы“ выше, на стр. 114—115).

¹ В дальнейшем обозначаем сокращенно „Дело“.

Сваренно 3

III^е ОТДЕЛЕНИЕ
СВЯТЫХ ПИСИМ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
Канцеляри
/ Экспедиция
в Министрств
28. Июля 1849.

6 /

Милостивый Государь,

Андрей Александрович.

Получив от Вас, что
в том же А. Странковском
записке, которой будет
выпущена 1^я Мая, уже на-
печатана в ее известии, со-
ответствие штирль пору-
чки Ростовской и всто-
ручки Айтэ востри сере-
ской маки Павлова, и
иметь честь сов. Сибирь

Его Высочество
А. А. Краевскому

ГОЛОВИНСКИЙ, Василий Андреевич, (1829—1870), тит. советник, правовед, служил в Сенате. „Лицо замечательное, как по своему характеру, та и по твердости своих убеждений и широкому красноречию“ (отзыв Антонелли, „Дело“, ч. 2, л. 172). Горячий сторонник освобождения крестьян с землей; первоочередность этой реформы он и отстаивал у Петрашевского был приятелем Достоевского, ставившего его очень высоко. Достоевский ввел его к Петрашевскому (см. об этом в показании Достоевского выше, на стр. 113).

„СОГЛАШАЯСЬ С МНЕНИЕМ ГОЛОВИНСКОГО“, который высказал его на собрании у Петрашевского 1 апреля по поводу доклада последнего о порядке проведения реформ цензурной, крестьянской и судебной. В „Списке“ о Головинском на основании донесения агента Антонелли сказано именно об этом вечере так: „1 апреля был на собрании и возражал на речь Петрашевского в самых зловредных выражениях; излагал план, которым вернее можно достигнуть до разрушения настоящего порядка вещей, и вообще отличался красноречием, дерзостью выражений и самым зловредным духом, разбирая три главные вопроса: освобождение крестьян, свободу книгопечатания и преобразование судопроизводства“... и дальше в противоречие с вышеприведенным Антонелли прибавил: „15 апреля был на собрании, принимал сторону Петрашевского о главных трех вопросах“ (См. „Петрашевцы“, изд. М. В. Саблина, М. 1907, стр. 28).

В докладе генерал-аудиториата подробнее указано, в чем заключались действия подсудимого Головинского. „По донесению агента Головинский был на собраниях у подсудимого Петрашевского 1 и 15 апреля.

В собрании 1 апреля Петрашевский разбирал вопросы о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и освобождении крестьян, причем Головинский говорил, что грешно и постыдно человечеству глядеть равнодушно на страдания 12 миллионов несчастных рабов, что идеею каждого должно быть старание освободить сих угнетенных страдальцев, и что это освобождение не представляет никакого чрезвычайного затруднения, потому что они сами уже сознают всю несправедливость своего положения и стремятся всячески от него избавиться. Кроме того он, Головинский, между прочим, излагал план, которым вернее можно достигнуть разрешения настоящего порядка вещей и объяснял, что перемена правительства не может произойти вдруг, и что сперва должно утвердить диктатуру. Подсудимый же Петрашевский сильно восставал против этого и в заключение сказал, что он первый поднимет руку на диктатора“ („Петрашевцы“, т. III, 1928; стр. 138 и 139).

Н. П. Григорьев показал на следствии, что на собрании у Петрашевского 1 апреля Головинский „при разговоре о том, каким образом освободить крестьян без содействия правительства, предполагал одну меру — восстание их самих; а также он, Головинский... говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, но прежде надобно учредить диктатуру“. Дворянин Деев также показал, что „Головинский спорил с Петрашевским о невозможности перемены образа правления мгновенно, говоря, что если возможна реформа, то не вдруг, а двумя путями — освобождением крестьян и открытым судопроизводством, причем Петрашевский был на стороне последней меры, а подсудимый Головинский на стороне освобождения крестьян“.

Интересно показание Ф. М. Достоевского по этому вопросу. Он показал, что „Головинский говорил о возможности внезапного восстания крестьян, потому что они сами (т. е. крестьяне) уже достаточно сознают тягость своего положения. но это сказано было им как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий“ (взято из обвинит. сводки В. А. Головинского из сб. „Пеграшевцы“, ред. П. Е. Щеголева, т. III, ГИЗ, 1923, стр. 139 и 140). Приблизительно то же читаем в показаниях Достоевского, напечат. в этой книге, см. выше стран. 155 и 156 и 163 и 164. В утверждении Антонелли, что Достоевский соглашался с Головинским в решении социально-политических проблем, возможно видеть подтверждение словам А. И. Пальма, что Достоевский допускал восстание крестьян, как крайнее средство для освобождения их (см. подр. выше в предисловии на стр. 36).

По „Списку“ лиц, посещавших Пеграшевского — „Один из важнейших“. Присужден к расстрелу, по конфирмации отправлен рядовым в Оренбургский корпус. При Александре II уговаривал симбирских дворян отпустить крестьян на волю до указов, „которыми Муравьев и Комп. закрепостят их хуже прежнего“.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО К ГОГОЛЮ в другой выписке характеризовалось подробнее: „Письмо, исполненное дерзкого вольнодумства“, „говорит о православной религии, о судопроизводстве, законах и властях“.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО К ГОГОЛЮ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИЛИППОВУ. Это сообщение агента Антонелли неточно. Достоевский сам показал в Следственной комиссии, что получил копию этого письма от Плещеева из Москвы, а не от Филиппова. В „Сводке“ (в показании свидетелей) Следственная комиссия, хотя и предположительно, но ближе к истине говорит, что Достоевский получил рукопись „Переписки Гоголя с Белинским“ от Плещеева (см. выше на стр. 101).

ФИЛИППОВ, Павел Николаевич, (1826—1855) студент СПб Университета, сын статского советника, принявший вторично после исключения. Устраивал общество товарищей для искоренения грубых нравов среди студентов. Занимался составлением и переводом статей по физике и физической географии и помещал в „Отечеств. записках“. „Один из важнейших“; занимался устройством тайной типографии, заказал принадлежности в разных мастерских и свез их к Н. А. Спешневу. (Об этом см. в письме поэта А. Н. Майкова к П. А. Висковатому 1855, напеч. в сборнике „Ф. М. Достоевский“. Статьи и материалы под ред. А. С. Долинина, Пггр., 1922, стр. 267 и др. См. цитаты из этого письма в предисловии на стр. 20—22). Приговорен к расстрелу, по конфирмации на 4 года в военные арстанты, потом рядовым на Кавказ. Принадлежность письма Белинского к Гоголю приписана Филиппову ошибочно, и в обвинениях, составленных позднее, Следственная комиссия к этому вопросу не возвращалась.

ИЗ БРАТЬЕВ ДОСТОЕВСКИХ был привлечен к следствию кроме Федора Михайловича еще М и х а и л М и х а й л о в и ч (1820—1864), старший брат его, отставной подпоручик, литератор, писавший повести и рассказы и редактировавший впоследствии, в 60-е годы, вместе с Ф. М. журналы „Время“ и „Эпоха“. Суду Мих. Мих. не предавался и был освобожден после

допроса. Раньше его был арестован младший брат, Андрей М., служивший в корпусе путей сообщения — „тоже пишет“, (Дело, ч. 2, л. 33, № 34). Об Андрее М. первоначально не было известно III отделению „состоял ли он в тайне“ с братьями. Выяснилась непричастность А. М., и он был освобожден после допроса через 2 недели пребывания в крепости (подр. см. „Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского“, изд-во Писателей в Ленинграде, Л., 1930, стр. 192).

Федор Михайлович Достоевский обозначен здесь Достоевский I-й, потому что в это время был арестован по ошибке вместе с ним 23 апреля Андрей Михайлович. Последний в своих воспоминаниях („Воспоминания А. М. Достоевского“ изд-во Писателей в Ленинграде, Л. 1930, стр. 205 и др.) рассказывает, что он был арестован в ночь на 23 апреля, заключен в крепость и, когда на допросе в крепости 2 мая Следственная комиссия установила непричастность Андрея Михайловича к делу Петрашевского, он был освобожден 6 мая, а в ночь с 5 на 6 мая был арестован М. М. Достоевский. А. М. Достоевский так рассказывает о своем допросе и освобождении. Выяснению его невиновности „особенно помогло то, что на вопрос о Буташевиче-Петрашевском он наивно отвечал: „нет, я Петрашевского не знаю, а как, ваше превосходительство, назвали другого? (Он вообразил, что ему назвали не одно лицо, а двух). Когда невинность А. М. обнаружилась, комендант велел перевести его из сырого каземата в новое помещение; вслед же за тем, впрямь до устранения всех формальностей, мешавших его немедленному освобождению, даже перевел его к себе на квартиру. Но вот 5 мая А. М. узнал от плац-майора, что уже получено разрешение окончательно освободить его, но что это пока в секрете. „Какие же могут оставаться препятствия теперь же выпустить меня отсюда? — спросил А. М. „Очень просто: не хотят, чтобы вы встретились в городе с такими лицами, с которыми вам встречаться не следует“. Я понял, замечает А. М., что не хотят, чтобы я виделся с братом Михаилом Михайловичем. Но вот в ночь с 5 на 6 мая брат Михаил Михайлович был арестован, и утром 6 мая последовало мое освобождение“.

БРАТЯ МАЙКОВЫ — „литераторы“, были помещены в списке № 3 „лиц, которые более или менее подозревались в сношениях как с обществом Петрашевского, так и с другими“. Антонелли отмечал их дружбу с Петрашевским, с которым они-воспитывались в СПб Университете, и передавал якобы слова Петрашевского о том, что Майковы распускали слухи о намерении арестовать общество Петрашевского из-за того, что „общество его, Петрашевского, гораздо умнее, сильнее и в другом размере действует“, чем то „общество из литераторов“, в котором, якобы, „главную роль разыгрывали Майковы и Достоевские“. „Но это пустяки“, будто бы прибавлял Петрашевский: „хотя между обществами и происходят иногда qui pro quo, но все они стремятся к одной цели“ („Дело“, ч. 2, л. 53 и 54). К следствию был привлечен, но суду не предавался, а был подвергнут допросу, а затем секретному надзору полиции Аполлон Ник. Майков (1826—1902), известный поэт. О своем настроении после ареста Петрашевцев и Достоевского и о своем допросе в Следственной комиссии А. Н. Майков рассказал подробно в своем письме к П. А. Висковатому: „Если что меня тяготило в ожидании, когда меня арестуют (а этого я ждал по близким связям

с Достоевским и Плещеевым), а потом чего более я боялся уже на допросе в крепости — это именно этой тайны посещения Достоевского и того, что он мне сообщил. Но на допросе об этом не спрашивали и я весьма свободно и развязно отвечал о теории Фурье и фаланстериях, даже не без юмора, члены смеялись, когда я рисовал, какие это будут казарменные жилища, где будет и мой номер и вся жизнь будет на глазах, и никаких амуров не останется в тайне. Распространялся о неуживчивости Достоевского, который перессорился со всеми, кроме меня, но, наконец, в последнее время охладел и ко мне и мы видались реже". (Подр. см. в сб. „Ф. М. Достоевский“. Статьи и материалы под ред. А. С. Долинина, Пггр. 1922, стр. 268).

Из остальных 4 братьев мог быть на подозрении лишь Владимир Н. (1826—1885), журналист и переводчик. Известный критик Валерьян Н. (1823) умер еще в 1847 г., а будущему академику Леониду Н. (1839—1900) было только 10 лет.

В донесениях П. Д. Антонелли, напечатанных здесь (см. стр. 100), говорится, нам кажется, о братьях Достоевских и Майковых более ясно: „Антонелли доносит, что Петрашевский между прочим говорил, что здесь существует какое-то общество, составленное из литераторов, в котором главную роль разыгрывают братья Майковы и Достоевские“. Не содержит ли это неопределенное сообщение намек на кружок Дурова, где действительно, братья Достоевские и Майковы участвовали больше, чем у Петрашевского. Но этому указанию Следственная комиссия не придавала значения и, как мы знаем, стала собирать сведения о кружке Дурова значительно позднее, чем могла бы.

ОБЪЯСНЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (стр. 72—93)

Печатаем по автографу Ф. М. Достоевского, хранящемуся в деле аудиаториатского департамента военного министерства 1849 г. № 55, часть 26, под названием „Следственное дело об отставном инженер-поручике Достоевском“. Объяснение занимает четыре листа писчей бумаги, что составляет 1—8 л. (ныне в ЛОЦИА). За ним следует писарская „копия с объяснения Достоевского“, занимающая стр. 9—34. Это первое показание в „Следственном деле“ никак не озаглавлено и не датировано.

Приблизительно можно датировать „Объяснение“ 6 мая 1849 г., так как в журнале заседаний Секретной Следственной комиссии за этот день (№ 12, л. 43) помечено, что Достоевскому были даны предварительные вопросы. Повидимому, эти „предварительные вопросы“ и поставил в самом начале „Объяснения“ Достоевский и на них он и дал свои подробные показания. Убористо написанное рукой Ф. М. Достоевского с массой поправок и вариантов, оно носит столь черновой характер нервной и поспешной записи, что Следственная комиссия распорядилась снять с подлинного документа канцелярскую копию, которой судя по разным отметкам на ней и пользовались во время судебного процесса.

Напечатано было „Объяснение“ довольно неисправно под названием „Показания“ в ж. „Космополис“ 1898 г., сент., стр. 198—212; затем в сб. „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 83—95; кроме того

в „Биржевых ведомостях“ 1898 г. в № за 8—10 августа и „Мире божем“ 1898 г. кн. XI были помещены плохие переводы с плохого немецкого перевода „Объяснения“. Историю переводов и появления в печати „Объяснения“ рассказывает в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская („Объяснение“ она также называет „Показанием“). В 1898 г. в Россию приехала венская писательница Нина Гофман, чтобы собрать новые материалы для своей книги о Достоевском. Через австрийского посланника она получила разрешение снять копии с бумаг в архивах III отделения и военного министерства, которые ее интересовали. Познакомилась с А. Г. Достоевской и вместе с нею работала над следственными материалами. Совместные занятия этих женщин закончились инцидентом, о котором откровенно сообщает А. Г. Достоевская.

„Через три дня после первой поездки (в здание военного суда) я, по условию, опять заехала за г-жею Г(офман) и мы отправились в Военный суд, где на этот раз нам дали показание Ф. М. Дост(оевского) в 1849 г. (по делу Петрашевского). Показание было написано собственной рукою Ф. М., очень мелким, хотя четким шрифтом и занимало около 50 страниц большого формата (в печати заняло около 20 стр. большого формата).

Так как мне приходилось, приезжая из Н(ового) Пет(ергофа), заезжать за г-жею Hoffmann и ждать, пока она позавтракает и соберется ехать на Мойку, то выходило, что мы всегда поспевали в Г. Суд не ранее $\frac{1}{2}$ 2-го, и на переписку оставалось не более полутора часов. Таким образом я только после 4—5 посещений Суда закончила переписку показания. Распроцвавшись с любезно принимавшим нас чиновником, мы узнали, что бумаги будут сегодня же отправлены в Петр(опавловскую) крепость на хранение.

Выйдя на набережную Мойки, я попросила г-жу Hoffmann отдать мне обратно мой сверток с переписанным „показанием“, который она взялась поддержать, пока я одевалась у швейцара, и совершенно неожиданно услышала поразившие меня слова:

— А я решила не отдавать вам свертка.

— Вы шутите? — спросила я.

— Нет, не шучу, — отвечала она уже с совершенно серьезным видом.

— Что вы этим хотите сказать?

— Видите: мне эту копию {необходимо сегодня же вечером отправить в Вену, куда едет один из чиновников австрийского посольства. Он обещал тотчас по приезде переслать рукопись в редакцию „Allgemeine Zeitung“, которая переведет ее на немецкий язык и поместит в Beilage.

— Но позвольте, — затревожилась я. — Вы все время говорили, что поместите это показание в вашей будущей книге, — я же предполагала поместить его в изд[ании] П[олного] С[обрания] Соч[инений], которое предполагаю вскоре издать. Таким образом, показание появилось бы в печати почти одновременно. Теперь же выходит, что оно появится сначала в немецкой газете, и затем будет переведено на русский язык. По-моему, это выйдет даже некорректно в отношении к памяти моего дорогого мужа.

— Вы можете тоже напечатать это показание в подлиннике, после того, как я возвращу вам рукопись.

— Но позвольте, — когда же вы можете ее мне вернуть? Подумайте, что рукопись может затеряться в типографии, в редакции или в пересылке, и тогда окажется, что существует перевод с показания и не существует

подлинника. Разве это возможно? И неужели я для того приезжала в такую жару в город и теряла время на переписку, чтоб не иметь у себя этой рукописи?

— А вы предполагали, что я приехала в Петербург и выхлопотала дозволение списать показание ради того, чтоб вы имели это показание?

— Не забывайте, пожалуйста, что дозволение дано было нам обеим, и без моего присутствия вам не показали бы бумаг.

— Кто вам это сказал?

— Кто бы ни сказал, а это верно. Да мы с вами так и условились, что когда я окончу „переписку“, то доставляю вам точную копию. И если желаете, то переписку эту я доставляю вам завтра.

— Но мне сегодня нужна рукопись, иначе она не успеет к № с Veilage.

— Успеет к следующему №, не все ли равно?

— Но я уже телеграфировала редакции, с кем я высылаю рукопись.

— Ну, хорошо, если она вам так необходима, то извольте. Я доставлю вам ее сегодня не позже, чем через 3 часа. Я сейчас поеду на вокзал Николаевской ж. д., зайду в буфет и перепишу рукопись. Позвольте же мне мою рукопись обратно и будьте уверены, что я верну ее не позже 8 часов.

— Нет, — сказала г-жа Hoffmann решительно, — я не могу отдать рукописи, — я вам потом пришлю ее.

Таким образом, споря и горячо разговаривая, мы подошли к Синему Мосту. Видя, что она машет извозчику и опасаясь, что она вскочит на линейку и уедет, а я останусь в дураках, я пришла в сильное негодование и схватила ее за руку.

— Коли вы не хотите отдавать, то вот что я сделаю! Видите городского на углу. Я ему сейчас скажу, что вы похитили у меня бумаги и пусть он нас обоих отведет в участок. Там мы оставим сверток и пусть полиция осведомится у генерала Маслова, — имею ли я право на эти бумаги. Дело выяснится, но выйдет скандал, и о распространении его я постараюсь. Пусть общество узнает, к чему приходится прибегать, чтобы оградить свое правое дело.

И могу заверить, что я бы поступила как грозила, если бы она не вернула свертка. Видя мой разъяренный вид, г. Hoffmann не усомнилась, что я прибегну к названной мною мере и, убоясь скандала, с искривившимся от злобы лицом, сказала:

— Успокойтесь, я пошутила. Вот ваш сверток, но я прошу вас сдержать ваше слово и привезти эту бумагу к 8 часам. Или, еще лучше, поедemте ко мне и перепишите бумагу у меня на дому.

— Благодарю вас, — это мне неудобно. Сегодня в 8 часов бумага будет у вас.

— Приезжайте. Я буду ждать вас с чаем, — уже обычным, любезным тоном сказала она.

Я раскланялась, села на извозчика и помчалась на Николаевский вокзал. Здесь я села в самом дальнем углу у окошка, заказала себе обед и спросила чернил и перо. Хоть переписать надо было много, но я вообще скоро пишу и тут для некоторых ясных мест употребила стенограмму. Затем сверила обе бумаги и без четверти 8 была на Литейной у г. Hoffmann. Я поручила швейцару отнести сверток и попросить росписку в получении, передав, что

я страшно устала, и что у меня разболелась голова. Потом я уехала на дачу.....

На другое утро я пошла к А. Н. Пыпину или И. П. Корнилову (хорошо не припомню), жившим в Петергофе, и рассказала происшедшую историю. Мой советчик был возмущен и непременно настаивал на том, чтобы „показание“ было помещено в каком-нибудь журнале или газете, если не раньше, то хоть несколькими днями спустя после того, как оно появится в *Veilage*. Он направил меня к тогдашнему издателю „Русской Старины“, жившему тоже в Петергофе. Тот с удовольствием согласился поместить, но затем уведомил, что ближайшая книжка набрана и таким образом „показание“ может быть помещено лишь в следующем номере. К счастью, об этом инциденте узнал редактор „Космополиса“ Ф. Д. Батюшков, который и напечатал этот материал в XI книге своего издания за 1898 г. Но пока шли переговоры, „показание“ Ф. М. уже успело появиться в венской газете и было переведено в „Биржевых Ведомостях“ от 8—10 августа 1898 г. („Кр. архив“, 1923 г., т. III, стр. 288—290).

Объяснение, повидимому, написано было Ф. М. Достоевским до первого формального допроса, текст которого печатаем в этой книге (см. выше на стр. 108 и 109) и который представляет собой ответы на 7 формальных пунктов. Появление „Объяснения“ в деле Следственной комиссии связано с начальной стадией деятельности этой Следственной комиссии, которая „в начале своих действий, не имея никаких данных о преступности арестованных лиц, кроме донесений агентов, признала невозможным тотчас приступить к формальным допросам, но чтобы ускорить открытиями, она приступила к произведению предварительных словесных расспросов арестованным лицам и, действуя в этом случае силою убеждения, она требовала от них чистосердечных показаний как в отношении личных своих действий, так и в отношении действий других“ (см. „Доклад генерал-аудиториата в изд. „Петрашевцы“ сб. материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. III, 1928, стр. 7); то же цитирует и В. И. Семевский в своей статье „Следствие и суд по делу Петрашевцев“ (в ж. „Русские записки“, 1916, № 9, стр. 49).

У Достоевского в „Объяснении“ находим упоминание о предварительном расспросе его Комиссией, который Достоевский называет первым допросом. В „Объяснении“ Достоевский пишет: „Соображаясь с первым допросом моим, я заключаю, что от меня требуют отчетливого ответа на следующие пункты“, и далее: „В сущности я еще не знаю доселе, в чем меня обвиняют. Мне объяснили только, что я брал участие в общих переговорах у Петрашевского, говорил вольнодумно и что, наконец, прочел вслух литературную статью „Переписка Белинского с Гоголем“. Комиссия таким образом не только расспрашивала, но и собирала предварительные показания. Самые вопросы, которые Достоевский осветил в своем предварительном показании, также говорят о том, что это были общие, приблизительные вопросы, через которые Комиссия хотела разузнать вообще о деятельности общества. По времени надо предполагать, что и предварительный словесный расспрос и предварительное объяснение Достоевского падают на время с 26 апреля до 16 мая 1849 г. Это видно из следующего указания Комиссии о ходе своих работ. В „Записке о действиях секретной следственной комиссии“, сообщавшей шефу жандармов графу Орлову о своих действиях

еженедельно, за время с 26 апреля по 16 мая, узнаем, что Комиссия за это время допросила в числе многих Ф. М. Достоевского и что все они (Кашкин, Ахшарумов, Плещеев, Момбелли, Ястржембский, Кузьмин и др.) показали о том, что на вечерах у Пеграшевского, разные государственные вопросы рассматривались в духе социализма "... „что три главные предмета, обращавшие на себя внимание собраний, были: свобода книгопечатания, перемена судопроизводства в освобождение крестьян" и т. д. (подр. см. в сб. „Петрашевцы", изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 122). Относительно этих вопросов писал и Достоевский в своем предварительном „Объяснении". В. И. Семевский указывает, что этот предварительный допрос был сделан Ф. М. Достоевскому в заседании 6 мая. Указание В. И. Семевского подтверждается документально: в журнале заседаний Секретной Следственной комиссии отмечено, что Ф. М. Достоевскому „предварительные вопросы были заданы 6 мая 1849 г." (журнал № 12, л. 43; подлинник в архиве 6. военного министерства). Таким образом, „Объяснение" можно датировать 6 мая 1849 года.

О. Ф. Миллер в составленной им „Биографии Ф. М. Достоевского", сохранил воспоминания Ф. М. об этом допросе. „Федор Михайлович припоминал, что ген. Ростовцев предложил ему рассказать все дело. Достоевский же на все вопросы Комиссии отвечал уклончиво. Тогда Я. И. Ростовцев обратился к нему со словами: „Я не могу поверить, чтобы человек, написавший „Бедных людей", был заодно с этими порочными людьми? Это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело". „Я, — вспоминал Ф. М., — молчал". Мало вероятного в передаче Достоевского и Ор. Миллера второй половины речи Я. И. Ростовцева („Вы мало замешаны, и я уполномочен" и т. д. до конца). Мало вероятным и неестественным представляется и последовавший за этим объяснением эпизод. В ответ на молчание Достоевского, „Ростовцев, вскричав: „Я не могу больше видеть Достоевского", выбежал в другую комнату и заперся на ключ, а потом оттуда спрашивал: „вышел ли Достоевский? Скажите мне, когда он выйдет, — я не могу его видеть". Достоевскому это казалось напускным" (см. „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского", СПб, 1883, стр. 106 и 107). Странно представить эту сцену, где главным действующим лицом является член „высочайше утвержденной комиссии", начальник военно-учебных заведений, который убегает от арестованного преступника, приведенного к нему на допрос. Здесь биограф впал в очень распространенную болезнь, свойственную авторам биографий и воспоминаний об известных и великих людях, которую когда-то Маколей удачно назвал „furog biographicus" (пристрастие к своему герою).

ПЕТРАШЕВСКИЙ, Мих. Вас. (1821—1866) судя по его работам (статьям в „Карманном словаре" Кириллова, записным тетрадам и черновым рукописям задуманных работ „Мои афоризмы" (с 1840 г.) „Запас общепольного" (1842—1843) и др.), а также по отзывам современников был убежденным фурьеристом, „одним из старейших пропагаторов социализма", который предпочел „скромную деятельность гражданина... блистательным успехам на поприще администрации". На обеде 7 апреля 1849 г., устроенном у Ал. Ив. Европеуса в день рождения Фурье, по предложению Кашкина

Петрашевский сказал: „По нашему понятию под словом социализм следует разуметь учение или учения, имеющие целью устройство быта общественного, сделать согласными действия с потребностями природы человеческой. Нечего в припадке ребяческой гордости ломать голову над выдумкой какой-нибудь новой системы. Разумеется, нам, настоящим фурьеристам, не к лицу такая вычурная блажь... Нам, фурьеристам, смотрящим на человека не в отвлечении, но берущим человека таким, как он есть в действительности, — ревнителям мирных преобразований общественных“ ... Когда Спешнев и Черносвитов изложили Петрашевскому план восстания, последний резко возражал: „стал говорить вообще против бунта и восстаний черни“; заявил, что он фурьерист, революции не признает, и „заключил, что он на своем веку надеется еще видеть и жить в филанстере“, как осуществлении идей Фурье (см. в сб. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, т. III. стр. 28).

Любопытно, что репутация Петрашевского, как убежденного фурьериста, была широко распространена в литературно-общественной среде еще задолго до 1849 г. Так напр., уже в 1845 г. Ап. Григорьев высмеивает в своей пьесе „Два эгоизма“ (драма в 4-х действиях, в стихах), напечатанной в ж. „Репертуар и Пантеон“ (1845, кн. XII. стр. 551—743), фурьериста Петушевского, спорящего о фурьеризме с Баскаковым (Аксаковым); подр. см. в заметке Вл. Каллаша: „Ап. Григорьев о Петрашевском“ в журнале „Голос минувш“. 1914, февраль, стр. 200 и 201.

Петрашевский сам признался Следственной комиссии в своем увлечении учением Фурье. „Когда я в первый раз прочитал его (Фурье) сочинения, — заявил он в записке, представленной в Следственную комиссию, — я как бы заново родился, благоговел перед величием его гения; будь я не христианин, а язычник, я б разбил всех моих других богов..., сделал бы его единым моим божеством“ (см. В. И. Семевский „М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, ч. 1, М. 1922, стр. 71). Известно также, что Петрашевский пытался практически осуществить фурьеризм и в своем имени „начал строить в лесу фаланстерию“, но ее сожгли крестьяне, о чем подробно рассказывал в своих воспоминаниях его товарищ по лицу В. Р. Зотов (см. подробно в назв. соч. В. И. Семевского, стр. 174—176).

Правительство прекрасно осведомлено было задолго до ареста Петрашевского о его увлечении фурьеризмом и коммунизмом. „В марте 1848 г. дошло до сведения шефа жандармов, что находящийся в С.-Петербурге чиновник Буташевич-Петрашевский обнаруживает большую склонность к коммунизму и другим западным идеям и с дерзостью провозглашает свои правила“, — так начинался всеподданнейший доклад об аресте М. В. Петрашевского (см. подр. „Дело“, ч. 2, л. 3). Таким образом, Достоевский нового не сообщал Комиссии о нем, — тем более, что Комиссию интересовал другой вопрос — вопрос о заговоре, вопрос о тайных целях общества. Секретная Следственная комиссия в своей работе упорно искала заговора и вынуждена была признаться в ненахождении каких-либо следов. В своей записке она не раз констатировала неудачу своих поисков. Определяя характер кружка Петрашевского на основании допросов участников за время с 26 марта до 16 мая, Комиссия заявила: „Принадлежали ли сии собрания к разряду тайных организованных обществ, это до сих пор (т. е. до 16 мая

1849 г.) не доказываеся никакими положительными данными" (см. в сб. „Петрашевцы“, изд. В. И. Саблина, Москва, 1907, стр. 123). Произведя новые допросы за время с 16 по 23 мая, Комиссия опять нашла: „Продолжая расспросы арестованных лиц, употребляла все возможные старания дабы открыть, не составляли ли они какое-либо тайное общество, но никто из них до сего времени в этом не сознался“ (там же, стр. 123). Ряд показаний, приведенных в докладе генерал-аудиториата, подтверждает эти выводы Секр. Следств. комиссии. Так напр., Львов показал, что „о существовании какого-либо тайного или политического общества он не знал и потому, если действительно был заговор, замысел или что-либо подобное, то в нем он не причастен“ (см. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, т. III, М. 1928, стр. 90).

Однако, царь и III отделение держались того взгляда, что петрашевцы составляли тайную организацию и имели целью свержение существующего строя. На следующий же день после ареста петрашевцев, т. е. 25 апреля, Орлов писал в неизданном „весьма секретном“ отношении (№ 727) Моск. ген.-губ. графу А. А. Закревскому о Петрашевском и его собраниях, как заговорщической организации: „Находящийся в С.-Петербурге (sic! — когда он был в крепости. — Н. Б.) титулярный советник Буташевич-Петрашевский питал большую склонность к коммунизму и другим западным идеям, с дерзостью провозглашая свои правила.

Характер собраний у Петрашевского был чисто учено-политический; цель же их была: перемена ныне существующего в России порядка вещей, образовать людей, совершенно сходных в своих идеях и взглядах на предметы, чтобы в случае какой-либо перемены в правлении или мятежа, тотчас нашлись люди согласные в своих началах, готовые в первом случае занять правительственные места, а во втором — начальствовать над массами. Действовал Петрашевский и его соучастники: во-первых, на будущее поколение через учителей; во-вторых — на массы через служащих лиц, которые обязывались представлять все действия администрации в черном виде, подлыми и неправильными, и таким образом, приучая массу ненавидеть лиц, имеющих в руках какую-либо административную власть и вооружать ее против самой власти“... (Из „Дело канцел. Моск. военн. ген.-губ., секр. часть, 1849, № 305, л. I).

Петрашевский давал повод видеть в нем „потрясателя основ“. Известно, что на обеде в честь Фурье 7 апреля Петрашевский свою речь закончил словами: „Мы осудили на смерть настоящий быт общества; надо же приговор нам исполнить“.

В обвинениях Петрашевского со стороны III отделения был еще очень серьезный пункт — это обвинение его в сочувствии коммунизму и вместе с тем фурьеризму.

Однако это обвинение было опровергнуто самим Петрашевским. На допросах Следств. комиссии он показал, что „отдает предпочтение системе Фурье перед коммунизмом, потому что осуществление оной возможно мирным путем, без насильственных потрясений, присовокупляя, что если и встречается что-либо хорошее у коммунистов, как, например, атеизм, то это не состоит в связи с системою, а более с личностью их“ (см. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, том III, ГИЗ. 1928, стр. 42).

Любопытно отметить, как заботливо относился Петрашевский к Достоевскому, он пыгался даже смягчить условия жизни для Достоевского и указывал Следственной комиссии на талант Достоевского как писателя. Петрашевский просил „дозволить товарищам по заключению чтение книг и прогулку в день два раза в саду, чтобы продолжительное одиночное заключение летом не вызвало помешательства, а что это сможет случиться; он советует спросить Пирогова или профессора медицинский академии, читающего психиатрию, а также ссылается на сочинение Кетлэ „*Physique sociale*“ (В. И. Семевский „М. В. Буташевич-Петрашевский“ — „Голос минувш.“, 1913, декабрь, стр. 96). Петрашевский, сообщает тот же автор, назвал Комиссии трех лиц, на которых заключение может иметь пагубное влияние, — это: „Достоевский, страдавший еще прежде нервическими раздражениями, так что ему едва ли ни мерещилось, Момбелли—человек сангвинико-меланхолического темперамента, склонный к ипохондрии, Ханыков — человек с пламенным воображением и весьма нервозный... Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) есть собственность общественная, достояние народное. Что, если вместо талантливых людей оклеветанных, по окончании следствия будет несколько помешанных? Чтоб этого не могло быть — от вас зависит“ (там же, стр. 96 и 97).

САМИ МЫ... ДРОБИМСЯ НА КРУЖКИ... В своем фельетоне 27 апреля 1847 г. под названием „Петербургская легопись“, напечат. в „С.-Петербургских Ведомостях“ 1847 г., Ф. М. Достоевский говорит более подробно об общественной жизни того времени и о кружках. Оценка этих форм общественности того времени близка тому, что читаем в „Объяненики“. В фельетоне Достоевский писал: „Мы все пламенно любим отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть коль случится: одним словом, много публичных интересов. Но у нас более в употреблении кружки. Даже известно, что весь Петербург есть не что иное как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свои приличия, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведение нашего национального характера, который еще не много дичится общественной жизни и смотрит домой. К тому же для общественной жизни нужно искусство, нужно подготовить так много условий — одним словом дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусства, покойнее. В кружке вам бойко ответят на вопрос — что нового? Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетней или зевком или тем, от чего вы сами цинически и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетней, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг, и вы проститесь с ним стойчески, равнодушно и в счастливом неведении того, как это все было с вами доселе, и для чего так все было? Умрешь в потемках, в сумерки, в слезливый без просвету день. в полном недоумении о том, как же это все так устроилось, что вот жил же (кажется жил), достиг кой-чего, и вот теперь так почему-то непременно понадобилось оставить сей приятный и безмятежный мир, и переселиться в лучший? В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то сплетни и

преферанс (разумеется, не в литературных кружках), и с непонятым увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец, потолковав, поговорив, решив несколько общепользных вопросов и убедив друг друга во всем весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец, все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что все расплывается, успокаивается, набирается крепкого житейского разума, и мало-по-малу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства. Оно, конечно, приятно так жить; но наконец станет досадно, обидно досадно“ (См. „Фельетоны сорокозых годов“, сб. ред. Ю. Г. Оксман“, 1930, стр. 128—130).

В 1848—1849 гг. **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРОГОСТИ ЦЕНЗУРЫ** в деле борьбы с „кромольными“ идеями Запада, проникавшими через периодическую печать, достигли крайних пределов. „В эти годы,— пишет А. Нифонтов,— печать испытала совершенно исключительное давление со стороны правительственных органов. Кроме обычного надзора цензурного ведомства, усилившего в это время свое рвение, над печатью наблюдали особые чрезвычайные комитеты. Они имели очень широкие полномочия, так как заключения их утверждались самим Николаем и приобретали силу „высочайшего повеления“. Но, кроме этого, III отделение также не упускало печать из сферы своего наблюдения. Немудрено, что все эти меры 1848 г. сделали положение русской литературы совершенно невыносимым, и М. Лемке (см. его книгу „Николаевские жандармы и литература“ 1826—1855 гг.) прав, называя период 1848—1855 гг. „эпохой цензурного террора“ (см. „1848 год в России“ Соцэкиз. 1931, стр. 179). В конце февраля 1848 г. т. е. после известий о февральской революции во Франции, был создан Комитет из 5 лиц, под председательством морского министра князя Меншикова „чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы“. Тогда же Меншиковский комитет распорядился разъяснить цензуре и редакторам журналов, что „намек на строгости цензуры в печати недопустимы“. По окончании работ Меншиковского комитета был организован 2 апреля постоянный грозный Бутурлинский комитет по повелению царя и должен был олицетворять собой высший надзор в нравственном и политическом отношении за книгопечатанием. Комитет наложил тяжелую печать гнета на литературу, что, естественно, отразилось на положении ее деятелей. Кроме того, III отделение также следило за благонадежностью с точки зрения правительства периодической печати и энергично требовало сокращения политических статей в русских газетах о политических переворотах в Европе (с таким заголовком велось особое дело № 25 в III отделении за 1849 г.). Заявление Достоевского о строгостях цензуры, без сомнения, является смелым шагом, решительным жестом, направленным против мероприятий особенно важных в глазах правительства царя, и III отделения.

БЫЛО ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНО ЦЕНЗУРОЙ какое-либо произведение Ф. М. Достоевского в годы, предшествовавшие его аресту и допросу по делу петрашевцев, сказать трудно. На основании имеющихся в данное время материалов известно лишь, что большой успех „Бедных людей“ привлек внимание цензуры к их автору, и она обрушилась на по-

весть Достоевского из быта чиновников („Прохарчин“, напечатанн. в „Отеч. зап.“ 1848 г., кн. 10).

О судьбе ее Достоевский писал брату 17 сентября 1846 г. „Прохарчин страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово „чиновник“ и, бог знает из-за чего, уж и так все было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Все живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести“ (Ф. М. Достоевский, „Письма“ под ред. А. С. Долинина, том I, ГИЗ 1928), стр. 59). В материалах цензурного архива имеются еще указания, что в 1845 г. был запрещен юмористический журнал „Зубоскал“, в котором была какая-то статья Достоевского.

РАЗРЫВ ДОСТОЕВСКОГО С БЕЛИНСКИМ произошел не в последний год жизни Белинского (1848 г.); охладели они друг к другу, на год раньше, т. е. в начале 1847 г. В своем „Объяснении“ Достоевский ссылается на расхождение с Белинским „из-за идей о литературе и о направлении литературы“. На самом деле эта размолвка имела более глубокие социально-политические причины, и едва ли заслуживает серьезного значения позднейшее указание Достоевского, сделанное в „Дневнике писателя“ 1873 г., о том, что они „разошлись (с Белинским) от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях“. Достоевский в другом месте еще указывал на свою религиозность и атеизм Белинского, как причину размолвки их. Это различие во взглядах было одной из причин расхождения.

Известно, что Белинский восторженно приветствовал „Бедных людей“ и молодого автора, видя в нем „доказательство перед публикой и оправдание мнений своих“. Повести Достоевского, написанные позже: „Двойник“, особенно „Хозяйка“, которой сам автор увлекался, резко осуждались критиком („Нервическая чепуха“) — „В последний год жизни он меня не взлюбил“, — писал Достоевский (Полное собр. соч. Ф. М. Достоевского 1883 г. т. I, Материалы для жизнеописания, стр. 76, 77 и 78).

ПО ПОВОДУ СПОРА С ПЕТРАШЕВСКИМ О ЛИТЕРАТУРЕ (см. выше). По донесениям агента П. Д. Антонелли, Петрашевский спорил с братьями Достоевскими, „упрекая их в манере писания которая будто бы не ведет ни к какому развитию идей в публике“. („Дело“ ч. 2, л. 124). Из допросов Момбелли в Следств. комиссии известно, что „в собрании 22 апреля Петрашевский говорил о том, как должны поступать литераторы, чтобы поселять свои идеи в публике. При этом Момбелли на слова одного из бывших на вечере, что литераторы Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы пользоваться книгами и хотя насышкою образоваться, но они не читали ни одной порядочной книги: ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса, заступился за них и сказал, что не надобно бранить тех литераторов, которые принадлежат к их обществу; что их и то уже большая заслуга в наше время, что они разделяют общие с нами идеи“ (см. „Петрашевцы“, под ред. П. Е. Щеголева, т. III, 1928, стр. 73). Таким образом, споры и вообще какие-то обсуждения идейного содержания творчества писателей Достоевских и других в среде петрашевцев были; однако точных сведений об этом нет в существующей литературе и материалах (см. еще далее — стр. 203 и 204).

ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОСТИ ПЕТРАШЕВСКОГО (см. выше стр. 75).

II отделение также собрало сведения: „В околке своего жительства он прослыл „басурманом“, носил бороду, которую с некоторого времени укоротил, и отличался оригинальностью своего костюма“ (Дело, ч. 2, л. 66 об.). Об этой черте характера Петрашевского говорят в воспоминаниях Герцен, Д. Д. Ахшарумов, его лицейский товарищ К. Веселовский и др.; все эти воспоминания собраны и прокомментированы в книге В. И. Семевского „М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, (ч. I, М. 1922, стр. 84—87 и др.).

ПРОПАГАНДА ПЕТРАШЕВСКОГО И ПЕТРАШЕВЦЕВ правительству была хорошо известна, оно было осведомлено о ней. И в документах III отделения (см. выше стр. 194) и в записке И. П. Липранди для Следственной комиссии есть прямые указания на это; а в допросах Следственной комиссии есть и признания самого Петрашевского; так, напр., в докладе генерал-аудиториата читаем: „что Петрашевский подтвердил показание Антонелли о том, что он, Петрашевский, желая ввести пропаганду, старался своих приверженцев поместить учителями в разные учебные заведения и с целью распространения идей либеральных сам держал пробную лекцию“ (см. „Петрашевцы“, под ред. П. Е. Щеголева, т. III, стр. 25). Пропагандисты-петрашевцы (И. Л. Ястржембский, Ф. Г. Толь, П. Н. Белецкий, Э. Н. Львов, А. П. Милюков, Н. И. Введенский), их взгляды, характер и объем их деятельности в Петербурге освещены в специальной статье В. И. Семевского „Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях“ („Голос минувшего“ 1917, февраль, стр. 138—169).

Липранди особо отметил факт, что и другие члены сообщества Петрашевского вели пропаганду в провинции. „Люди, — писал Липранди в своей записке, — принадлежащие к наблюдаемому обществу, находились вне столицы, в разных провинциях, об них здешние сочлены ясно говорили, что им поручено везде стараться сеять и деи, составляющие основу их учения, приобретать обществу соумышленников и сотрудников и таким образом готовить повсюду умы к общему восстанию. Бумаги арестованных лиц обнаружили, что подобными миссионерами были: в Тамбове — Кузьмин, в Сибири — Черносовитов, в Ревеле — Тимковский, в Москве — Плещеев, в Ростове — Кайданов и пр. Так как общество существует уже с 1842 г., то мне весьма естественно было предполагать, что подобные миссии ведутся издавна, и потому и деи могли быть уже посеяны и принести более или менее плоды в разных местах государства. Последствия, казалось, оправдывали это мое предположение: в письмах из Ростова Кайданов говорит о своей пастве, для которой он переводит на русский язык сочинения Ридермана о социализме, на том основании, что бы доставить возможность прочитать его тем, кто не знает немецкого языка; он выписывает и читает: Консидерана, Фурье, Прудона, Луи Блана, С.-Симона, Кабе, журнал „Фаланга“, *La guerre des Passions* („Борьба страстей“), *Les trois nuits* („Три тайные ночи“) и т. п., говорит что „он совершенно убежден в истине и исполнимости учения Фурье, благодарит (присылающих ему в Ростов помянутые книги) за насыщение хлебом духовных его и всей здешней (ростовской) небольшой паствы и пр.“ („Петрашевцы“, сб. изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 14).

ТОЛЬ, Феликс Густавович, р. 1823 г., учитель с августа 1848 г. русского языка в Главн. инж. учил. и в школе кантонистов. „Один из важнейших“, говорил, что „читая историю кантонистам, ему трудно было разбрасывать идеи, но он представил проект о новой программе и будет читать по самой ортодоксальной книге, а рассказывать сообразно с планом общества“, нападал на Я. И. Ростовцева, называя его „скотом“ и пр. Антонелли очень неместно аттестовал Толя, как человека, который „много кутил, много играл“, все ему надоело, и „смел думать, что взявшись за него ловко — он будет сознателен“ (Дело, ч. 2, лл. 23—25).

11 марта Толя на вечере у Петрашевского, с которым он знаком с 1846 г., произнес речь о религии. Присутствующие приняли живое участие в прениях, и речь Толя „произвела всеобщее одобрение“ (см. „Петрашевцы“ под ред. П. Е. Щеголева, т. III, 1928 г., стр. 133—см. и выше на стр. 98). Достоевский свое присутствие на вечере 11 марта отрицал (см. выше его показание на стр. 114). В докладе генерал-аудиториата Толя обвинялся еще в том, что он не донес о Тимковском, который говорил о необходимости социальных идей и переворота, выразил „желание скорейшего возмущения и готовность выйти на площадь“. Толя был приговорен к смертной казни.

Антонелли вкрался в дружбу с Толем и в 1849 г. жил с ним вместе (подр. см. в биографии Толя в статье В. И. Семевского „Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях“ — „Гол. минувш.“, 1917, февр., стр. 145—150).

ЯСТРЖЕМБСКИЙ. Фердинанд Иван Львович, „поляк душой и телом“ из дворян Минской губ.; окончил Харьковский Унив. Помощник инспектора Технолог. Инст., преподаватель Корпуса Путей сообщения и 1-го Кадетского, В кружке петрашевцев: „один из важнейших“. Видел „принцип зла — в царе“, „социальное правление“ считал „наилучшим“; „разбирая сочинения Фурье, выражался с громкой похвалою, Прудона хвалил, Ламартина разбирал с самой дурной стороны и пр.“ (Дело, ч. 2, л. 21). Приговорен к 6 годам каторжных работ, так же и по конфирмации, хотя Ген. Аудиториат предлагал смягчить до 4 л. — Его „Воспоминания“ напеч. в журн. „Минувшие годы“, 1908 г., кн. 1-я, стр. 31 (подр. см. в назв. выше статье В. И. Семевского — стр. 138—144; у В. И. Семевского есть характеристика общественно-политических взглядов Ястржембского на основании его показаний о Фурье и других социалистах).

Достоевский заявил, что он слышал выступления Ястржембского по вопросам политической экономии. Возникает интересный вопрос, когда же Достоевский мог слышать Ястржембского. По донесению агента Антонелли, последний присутствовал на собраниях у Петрашевского четыре раза: 11 и 18 марта, 8 и 15 апреля, причем только один вечер 18 марта Ястржембский выступал с большой речью о статистике, как социальной науке. Достоевский же, по его показаниям, весь март болел и не был у Петрашевского. Только 15 апреля, судя по сведениям из доклада генерал-аудиториата, присутствовали вместе и тот и другой; причем Достоевский в этот вечер читал письмо Белинского, которое „привело Ястржембского в восторг“ („Петрашевцы“, под ред. П. Е. Щеголева, том III, 1928, стр. 128). Однако, двое из привлеченных к кружку петрашевцев Кайданов и Ламанский показали, что Ястржембский выступал по вопросам политической экономии четыре или пять раз

Кайданов) или дважды (Ламанский). Любопытны отзывы обоих о выступлениях Ястржембского: „Титулярный советник Кайданов (показал), что подсудимый Ястржембский на вечерах у Петрашевского говорил о политической экономии четыре или пять раз, приводя примеры для подтверждения своих мыслей, преимущественно из статистики Франции и Англии; что он, когда разбирали сочинения Прудона, Фурье и, в особенности, Мальтуса, преимущественно занимался этим и говорил о социализме; что Ястржембский касался суждений о вашем императорском величестве и часто крикиковал некоторые меры правительства“.

„Губернский секретарь Ламанский, — читаем в докладе генерал-аудиториата, — показал, что Ястржембский на вечерах у Петрашевского, излагая историю политической экономии и социализма, доказывал необходимость свободной торговли и вред запретительной системы и говорил об отношении Прудона к капиталу, выставляя мнение об этом экономистов, социалистов и фурьеристов“ („Петрашевцы“, под. ред. П. Е. Щеголева, 1928, т. III, стр. 129). Характеристика Достоевского выступлений Ястржембского, как последователя экономистов последней школы, в общем верна. Услышать речи Ястржембского он, очевидно, мог раньше марта и апреля.

КОНСИДЕРАН, Виктор (1805—1893), талантливый последователь Фурье, глава школы фурьеристов. Его социалистическая газета „Мирная демократия“, в которой участвовали виднейшие деятели его времени, пользовалась большим влиянием, как и сам он в эпоху революции 1848 г. В июне 1848 г. Консидеран был обвинен в государственной измене и бежал в Бельгию, а потом в Техас, где по плану Фурье он организовал до 30 ассоциаций.

ФУРЬЕ, Шарль (1772—1837), глава школы раннего утопического социализма во Франции, сын разорившегося купца, всю жизнь жил бедняком. Сущность его системы так излагалась Следственной комиссией: „Фурье такой же социалист (как коммунисты), с тою только разницей, что он разрушительные свои правила прикрывает увлекательными вымыслами какого-то фантастического единства и блаженства на земле, предлагая достигать оною без всяких насильственных переворотов, только путем учения и примера. Он не признает святости христианской религии и хотя допускает бытие бога, но определяет существо его по-своему. Он, между прочим, доказывает, что испорченность человечества происходит будто бы от ложного исторического его воспитания посредством законов общественных, не понявших законов божественных, а потому и несообразных с человеческою природою, что люди порочны только от того, что страсти их насильствовались неестественно и постоянно этими искусственными законами и вследствие сего, чтоб сделать людей добродетельными, он полагает необходимым условием: удовлетворять все страсти их без всякого стеснения.“

Он делает окончательный вывод, что человечество должно быть обновлено и перевоспитано, что лучшее устройство общественное есть жизнь не государствами, а фалангами, от 800 до 1800 человек, для каждой фаланги устраивает фаланстерии с особым дворцом для общего жительства, с великолепными садами и со всеми удобствами не только привольной, но даже роскошной жизни, доказывает исчислениями, что все это обойдется не дороже обыкновенных хижин и садов крестьянских для того же самого числа людей, и заключает тем, что будто такими совокупленными средствами для обраба-

тывания земли и ее произведений не будет ни нищих, загрубелых от недостатков, ни богачей, загрубелых от роскоши, что будго масса довольства и богатства общего учетверится противу настоящего, труд сделается наслаждением, порочные страсти исчезнут, и земной шар, покрытый вместо городов и деревень процветающими фалангами, соединится под властью одного царя, всего земного шара,— столицею козго назначается Босфор,— и будет наслаждаться неизвестным доселе блаженством“. (См. „Петрашевцы“, сборн. материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. III, 1928, стр. 11 и 12). В параллель к этому можно прибавить, что цензура еще до 1849 г. принимала самые решительные меры борьбы против фурьеризма. Так, рассмотренный 30 апреля 1846 г. „Almanach phalanstèrien pour 1845“ в Комитете иностранной цензуры вызвал такое решение: „Из помещенных в этом альманахе статей г. цензор Зеленецкий обращает внимание на те, в коих излагается и похваляется система Фурье, полагая исключить самые резкие из них на стр. 207—216, 217—221, и 222—225. Комитет со своей стороны, по неудобству исключения многих страниц из небольшого объема, положил: „Запретить оную в целости“. 3 декабря 1847 г. Комитет запретил „Almanach phalanstèrien 1847“ и мотивировал этот акт следующими соображениями: „По отзыву г. Библиотекаря Комитета цель этого альманаха или календаря состоит в распространении между низшим классом народа идей коммунистов или учения Фурье даже в статьях, касающихся искусств и ремесл, развиваются начала этого учения. Обращая особенное внимание на статьи, прямо касающиеся коммунизма и приводя отдельные места на стр. 177 и 189, Библиотекарь Комитета представляет о запрещении сей брошюры по самой ее цели и направлению. Комитет, разделяя мнение г. Библиотекаря, положил: „означенное сочинение запретить на основании § 3 Устава о цензуре“. Правильно поэтому Ю. Г. Оксман, опубликовавший приведенные документы о мерах николаевской цензуры против фурьеризма и коммунизма („Голос минувшего“ 1917, № 5—6, май—июнь, стр. 69—72), сделал вывод о том что правительство вело решительную борьбу против „возмутительных“ теорий, и мнение о фурьеризме, как учении, терпимом николаевским режимом до революционного 1848 г. (это мнение было высказано В. В. Калашем „Голос минувшего“, 1914, № 2, стр. 201), является поэтому ложным, историческими данными не оправдываемым. Отношение правительства к фурьеризму станет вполне понятным, если не упускать из внимания ту разрушительную критику капитализма, какую дал Фурье в своих работах. Эту сторону системы Фурье так охарактеризовал Ф. Энгельс: „Если гениальная широта Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся к только экономической области, то Фурье со своей стороны дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя, выраженную при этом с чисто французским остроумием. Он ловит на слове вдохновенных пророков дореволюционной буржуазии и ее подкупленных льстецов после революции. Он беспощадно вскрывает всю материальную и моральную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с блистательными обещаниями прежних просветителей о наступлении царства разума и цивилизации, несущей счастье всем, о способностях человечества к бесконечному совершенствованию; он разоблачает пустоту напыщенной фразеологии современных буржуазных идеологов, показывая

какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и изливает весь свой сарказм по поводу провала этой фразеологии („Развитие социализма от утопии к науке“, Партиздат, М. 1934, стр. 17).

КАБЭТИЗМ — социальная утопия, созданная Этьеном Кабэ (1788—1856) французским коммунистом, сыном рабочего, адвокатом, членом палаты депутатов, деятельным участником июльской революции. В 1842 г. он издал „Voyage en Icarie, roman philosophique et social“ („Путешествие в Икарию“), страну, где господствует коммунистическая республика. В 1847 г. устроил в Техасе (Северная Америка) земледельческую коммуну из переселенных нескольких сот французских рабочих, просуществовавшую с 1849 по 1855 гг., но разошелся со своими последователями. О Кабэ и его коммуне Ф. Энгельс писал А. Бебелю 28 октября 1885 г. так: „Опыт этот закончился образцовой американской колонией, т. е. бегством из Франции, грывней и полубанкротством в Америке“ (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I(VI), 311 стр.). Коммунизм Кабэ — мирный, этический — зиждется на чувстве братства, которое, по мнению Кабэ, должно объединить все человечество. Не революция, а пропаганда идей обеспечит основы коммунизма по Кабэ; и его утопическое государство называли поэтому „Гесперовой идиллией, облеченной в коммунистическую форму“. Отношение правительства к Кабэ было резко отрицательным. 28 сентября 1848 г. соч. Кабэ „Voyage en Icarie“ было рассмотрено Комитетом иностранной цензуры и так оценено: „Автор принадлежит к числу известнейших коммунистов. Желая доказать, что коммунизм не есть какая-нибудь утопия, а основательная социальная система, Кабэ описывает в первой части своей книги путешествие английского лорда по Икарии, государству, устроенному на началах коммунизма, и, открывая ему все подробности управления, показывает не только сбыточность, но и превосходство подобного устройства на опыте; во второй же части излагает подробно систему коммунизма с применением оной ко всем отраслям религиозного и гражданского быта и с указанием способов к постепенному приведению оной в исполнение... Комитет положил означенное сочинение подвергнуть строгому запрещению по требованию §3 и §9 Устава о цензуре“ (подр. см. в статье Ю. Оксмана „Меры николаевской цензуры против фурьеризма, и коммунизма“ „Голос минувшего“ 1917, № 5—6, стр. 72). Для Достоевского нет ничего нелепее кабэтизма. Любопытно сравнить отношение к Кабэ Чернышевского, который был потрясен словами Кабэ: „Убейте меня и покажите мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них...“ Размышляя по этому поводу, Чернышевский пришел к мысли, сходной с Кабэ: „...увидел, записал Чернышевский, что в сущности я нисколько не дорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и пороков. Если бы только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют и если бы уверен был, что восторжествуют они, то даже не пожалел бы, что не увижу дня торжества и царства их. И сладко будет умереть... если только я буду в этом убежден“. (См. Е. А. Ляцкий „Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье“—„Современн. мир.“ 1908, № 11, стр. 161).

БИБЛИОТЕКА ПЕТРАШЕВСКОГО состояла из „редких“ книг, т. е. из недоступных для широкой публики социально-политических сочинений. М. Е. Салтыков в своем показании заявил, что Петрашевский намерен был выписывать только сочинения школы Фурье, но Данилевский, Вал. Майков.

Есаков и он, Салтыков, настояли, чтобы в библиотеке были „не одни книги, касающиеся социальных систем, но по преимуществу сочинения политико-экономистов“ (подр. см. В. И. Семевский, „М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, часть I, М. 1922, стр. 166). В библиотеке были Консидеран, Прудон, Луи Блан, Фурье, Кабэ, Энгельс, Маркс и др. (Подр. о составе этой библиотеки, о способе приобретения книг вскладчину, о том, кто из петрашевцев какие книги брал для чтения см. в назв. книге В. И. Семевского — стр. 167—170). Достоевский брал из библиотеки Петрашевского немного книг, а именно: 1. *Histoire de dix ans* (История десяти лет) Луи Блана¹; 2. какое-то сочинение Прудона; 3. книгу Paget (вероятно — предположение В. И. Семевского — „Introduction à l'étude la Science Sociale“ („Введение в изучение общественных наук“) — которая была выписана для библиотеки); 4. *Le vrai christianisme suivant J. Christ* („Настоящее христианство в следовании Христу“) — Кабэ; 5. „Vie de Jesus“ („Жизнь Иисуса“) Штрауса и, повидимому, книгу Beaumont „Marie ou l'esclavage“ („Мария или рабство“) (подр. в назв. книге В. И. Семевского — стр. 169). При обыске у Ф. М. Достоевского взяты были две запрещенные книги: Е. Sue „Le Berger de Kravan“ (1848—1849 гг.) — (Пастух Краван) и „La célébration du dimanche“ (Празднование воскресенья) Прудона (1839 г.; 3-е изд. 1848 г.) (подр. о двух последних далее — стр. 209 и 220). В. И. Семевский приводит отзыв Баласогло о литераторах, членах кружка Петрашевского и их начитанности, — отзыв любопытный и касается Ф. М. Достоевского. В последнюю пятницу 22 апреля „1849 г. после ужина Баласогло в кругу оставшихся 5 или 6 человек излил „свою желчь“, и тогда „досталось литераторам“. Он говорил, что „это люди тривиальные, без всякого образования, убивающие время в бездельи и между тем гордящиеся своими доблестями... Например, Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы, кажется, пользоваться от него и книгами и хоть насышкой образоваться“, а между тем они „не читали ни одной порядочной книги: ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвеция“ (см. его книгу „М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, ч. I, 1922, стр. 165). В. И. Семевский присоединился к отрицательному взгляду Баласогло и прибавил, что Ф. М. Достоевский, действительно, мало пользовался библиотекой, устроенною в складчину Петрашевским“ (там же, стр. 165).

В ответ на выступление Баласогло, повидимому, отозвался тогда же 23 апреля Момбелли, который в своем показании об этом эпизоде заявил так: „На слова одного из бывших на вечере, что литераторы Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы пользоваться книгами и хотя насышкой образоваться, но они не читали ни одной порядочной книги: ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса,

¹ „История десяти лет“ — историческая работа Луи Блана, доставившая ему известность историка. В ней он собрал богатый фактический материал о тайных обществах первого десятилетия царствования Луи Филиппа и их восстаниях. Луи Блан отрицал классовую борьбу, которую в то время признавало уже большинство социалистов. В популярной своей книге „Организация труда“ Блан предлагает построить социалистическое общество на средства государства в виде общественных мастерских.

заступился за них и сказал, что не надобно бранить тех литераторов, которые принадлежат к их обществу, что их и то уже большая заслуга в наше время, что они разделяют общие с нами идеи". (См. „Петрашевцы“, сб. под ред. П. Е. Щеголева, М. 1928, т. III, стр. 73; см. выше — 197 стр.)

СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ О БУМАГАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (стр. 94)

Сообщение председателя Комиссии по рассмотрению документов арестованных по делу Петрашевского, князя Алекс. Фед. Голицына печатаем по копии, сохранившейся в „Следственном деле об оставном инженер-поручике Достоевском“ 1849 г., часть 2б. 4 отделен. I стола, л. 37 (ныне в ЛОЦИА).

А. Ф. Голицын был председателем специальной Комиссии, созданной только для узко-определенной цели — для разбора и оценки документов, взятых при обыске у петрашевцев.

„Найденные (при арестах петрашевцев) некоторые бумаги, — по словам И. Липранди, — вызвали учреждение двух комиссий: одна следственная, под председательством ген.-ад. Набокова; члены оной: князь П. П. Гагарин, князь В. А. Долгоруков, Я. И. Ростовцев и Л. В. Дубельт. Другая комиссия также в крепости, для разбора громадного количества бумаг (и частью книг), взятых у арестованных лиц и отобрания для препровождения в Следственную комиссию тех из оных, которые более или менее относились к рассматриваемому делу. Комиссия эта находилась под председательством статс-секретаря князя А. Ф. Голицына; членами были служащие в III отделении с. е. и. в. канцелярии тайный советник А. А. Сагтынский и действительный статский советник А. К. Гедерштерн. От министерства же внутренних дел — я“. (См. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 12).

Особую Секретную следственную комиссию, назначенную для „раскрытия всех соучастников в этом преступном деле“, видел в полном составе Д. Д. Ахшарумов и так описал ее в своих воспоминаниях: „Они имели вид старых, заслуженных генералов и между ними один был в статском платье со звездой. Их было пятеро. (Производителем дела состоящий в Аудиторiatском департаменте чиновник особых поручений статский советник Шмаков). Как я узнал впоследствии, это были: князь Гагарин, в статском платье лысый, бледный, седой, казался старейшим из них, князь Долгоруков, генералы Ростовцев, Набоков, комендант крепости, и Дубельт“ („Из моих воспоминаний 1849 г.“ СПб. 1905, стр. 28).

НАБОКОВ Иван Андреевич (11 марта 1787 г. — 21 апреля 1852 г.), генерал; с 20 декабря 1848 г. комендант Петропавловской крепости, до этого в течение пятнадцатилетнего срока командовал гренадерским корпусом; с 1844 г. — генерал-адъютант. По отзывам петрашевцев он было мало развитый человек; руководство ведением следствия в Комиссии он доверил Гагарину. „Почтенный комендант Петропавловской твердыни, — вспоминает И. Л. Ястржембский, — и командир жандармского корпуса, нечаянно-негаданно превратившийся в инквизитора, присяжного заседателя и вместе судью по политическому делу, о сущности которого, равно как и об обязанностях принятой на себя роли судьи, не имел решительно ни малейшего

понятия, был твердо убежден, что если уже кто посажен в тюрьму, то, конечно, он уже тем самым виноват и заслужил казнь“.

„Генерал Набоков, видимо, в комиссии чувствовал себя не на своем месте; казалось, он вполне был убежден в существовании зловредного заговора вообще и в моей к нему прикосновенности: — в особенности; но в чем именно состоял заговор и какая была моя вина, он в этом не мог дать себе отчета“ („Мемуары И. Л. Ястржембского“, цитирую по изд. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“, Сб. материалов составил П. Е. Щеголев, ГИЗ, 1926, стр. 153 и 154).

По словам другого петрашевца Д. Д. Ахшарумова: „комендант Набоков посещал иногда наши кельи, желая удостовериться лично в нашем благополучном проживании в командуемой им крепости и показать тем свою заботливость о нас. При посещениях своем он однако же ни разу не удостоил меня никаким добрым словом участия, а только исполнялась им формальная обязанность коменданта: войдя в келью, он спрашивал о здоровье, а я при виде его спрашивал: „скажите, скоро ли кончится наше дело?“ — на что он обыкновенно отвечал: — „я почем знаю? — Вы лучше знаете, что вы наделали! — и, как бы избегая дальнейшего вопроса, он сейчас же уходил. Он посещал нас через несколько недель, а в последние месяцы нашего пребывания в крепости визит его был редкостью“ („Из моих воспоминаний“ 1849 г. СПб. 1905, стр. 51).

ГАГАРИН Павел Павлович (4 марта 1789 — 21 февраля 1872 г.), член государственного совета, член главного комитета по крестьянским делам, получившего прозвание „гагаринского“ и „нищенского“, председатель Верховного уголовного суда по делу Каракозова, председатель Комитета министров. В Следственной комиссии по делу петрашевцев руководил допросами вместо неспособного для этого председателя Комиссии И. А. Набокова.

Ф. М. Достоевский в „Дневнике писателя“ (1876, апрель) рассказал, что П. П. Гагарин сообщил ему об освобождении брата Мих. Мих. Достоевского, „нарочито вызвав меня для того из каземата в комендантский дом, в котором производилось дело, чтобы обрадовать меня. Но я был один, холостой, без детей; брат же, попав в крепость, оставил на квартире испуганную жену свою и трех детей... и вдобавок без копейки денег“. О. Ф. Миллер сообщает со слов И. П. Дебу, что кн. Гагарин „держал себя при допросе просто, указывал на свое знакомство с учением Фурье (через сына), но утверждая при этом, что после 1848 г. такой писатель не может уже представляться безвредным“ (см. „Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского“ в изд. Биография. Письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского“, СПб. 1883, стр. 105). Напротив, тяжелое впечатление произвел кн. Гагарин на И. Л. Ястржембского. Последний несколько раз упоминает, что кн. Гагарин при допросах „напускался“ на него, так что он был вынужден обратиться за защитой к Я. Н. Ростовцеву от „пристрастного допроса“ Гагарина. Последний в конце допроса заявил: „Вот и выгался, вот и извернулся“ — вскричал он (Гагарин) и сейчас же добавил: — „О, если бы я мог найти какую-нибудь каверзу (дословно), чтобы его утопить, я бы употребил ее непременно“. И. Л. Ястржембский использовал это замечание кн. Гагарина и обратился к генералу Ростовцеву, как своему непосредственному начальнику (Ястржембский был преподавателем военно-учебных

заведений, начальником которых состоял И. Я. Ростовцев в то время). „Ваше превосходительство, Яков Иванович, ведь это называется пристрастным допросом, который русскими законами не допускается. Я обращаюсь к Вам как к моему начальнику, прося защиты, протестую и прошу, чтобы мой протест был записан в протокол“ („Петрашевцы в воспоминаниях современников“, составил П. Е. Щеголев, ГИЗ, 1926, стр. 157). По словам покойного Спешнева, — рассказывает О. Ф. Миллер, — кн. Гагарин „всех вообще усовещевал раскаяться“ (См. „Биография, письма и замечки из записной книжки Ф. М. Достоевского“, СПб. 1883, стр. 106).

ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич (24 февраля 1804—5 января 1868 г.) князь, генерал-адъютант, товарищ военного министра, впоследствии военный министр, шеф жандармов и главный начальник III отделения. Его роль в Следственной комиссии осталась почти никем не отмеченной.

РОСТОВЦЕВ Яков Иванович (28 декабря 1803—6 февраля 1860 г.) — начальник штаба управления военно-учебных заведений; впоследствии участник крестьянской „реформы“ в качестве председателя редакционных комиссий и главного комитета по крестьянскому делу. В молодости член Северного Общества декабристов; за 2 дня до восстания 14 декабря он донес о восстании Николаю. По отзыву И. Л. Ястржембского ген. Ростовцев, „видимо, старался принять вид участия и сострадания, при чем выказываться в характере доброго и очень вежливого начальника, не очень взыскательного по части служебного этикета. Однако, по крайней мере, — ко мне, это ему вполне не удалось. Он мне показался слабохарактерным и двуличным человеком. Такое мое впечатление подтвердилось впоследствии его действиями в комитетах по освобождению крестьян“ („Петрашевцы в воспоминаниях современников“, составил П. Е. Щеголев, ГИЗ, 1926, стр. 152 и 153). По словам Спешнева, Ростовцев при допросах „журил тех петрашевцев, которые получили образование в военно-учебных заведениях, а остальных касался мало“ (сообщение О. Ф. Миллера в „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского“ 1883, СПб, стр. 106). О „странном“ поведении Ростовцева во время допроса Ф. М. Достоевского см. выше на стр. 192.

ДУБЕЛЬТ Леонтий Васильевич (1792—27/IV—1862) — начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением, член Следственной комиссии по делу петрашевцев. По сообщению И. Л. Ястржембского, Дубельт проявил по отношению к нему внимательность: „Когда я стал читать вопросы и взялся за перо, чтобы писать ответы, я был до того взволнован и мои нервы были так потрясены, что, вероятно, это отражалось на моем лице, потому что генерал Дубельт начал меня успокаивать и посоветовал быть похладнокровнее и обдумывать свои ответы.“

Этот, может-быть, ничтожный знак, не говоря участия, но просто человеческого отношения к обвиняемому ободрил меня несколько и я, заметив себе внутренно, что стыдно быть малодушным, стал писать ответы... Я знаю несколько случаев, в которых он (Дубельт) сделал всевозможные облегчения политическим обвиняемым и не знаю ни одного случая, чтобы он погубил кого-либо“. (См. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“, состав. П. Е. Щеголев, ГИЗ, 1926, стр. 160 и 161). Однако, этот благоприятный отзыв о Дубельте сам же мемуарист снизил указанием на отзыв

Дубельта о нем как поляке, преподавателе и воспитателе: „Ростовцев сделал какое-то замечание насчет моей деятельности, как преподавателя в военно-учебных заведениях. На это замечание... генерал Дуббельт вполне-лоса сказал: „Ему ли учить русских детей?“ (там же, стр. 161).

О. Ф. Миллер высказывает такое предположение относительно человечности Дубельта: „В деле Петрашевского такой его образ действий может объясняться тем, что дело это поднято было И. П. Липранди помимо III отделения (по словам покойного Спешнева, Липранди добивался занять положение Дубельта)“ (О. Ф. Миллер „Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского“ в книге „Биография, письма...“, 1883, стр. 105). Возможно, что указанная О. Ф. Миллером причина „облегчений“ петрашевцам, со стороны Дубельта справедлива — это два видных жандарма николаевского времени оспаривали друг у друга пальму первенства. И. П. Липранди подтверждает, что Дубельт был обойден в деле петрашевцев. „По обоюдному согласию (министра внутренних дел и шефа жандармов) собрание сведений о Петрашевском, — рассказывает Липранди в своей записке, — было возложено на меня, и последний (т. е. шеф жандармов) присовокупил: „чтобы мои не знали во избежание столкновений“. Это желание графа А. В. Орлова ставило меня в крайне недокое положение в отношении к Л. В. Дубельту: с ним мы были с 1812 г. соштабниками 6-го корпуса Дохтурова, я в должности оберквартирмейстера, а он — старшего адъютанта... С тех пор мы сохранили взаимное дружеское расположение. Находясь же в Петербурге (sic?) с 1840 г., старинная связь еще более укрепилась; сверх того, в то самое время, когда последовало решение о собрании сведений о Петрашевском, года два перед тем, и особенно в то самое время, я ежедневно, а иногда и по два раза в день виделся с Л. В. в III отделении... К этому должно присоединять еще и то, что в разных следственных комиссиях под моим председательством находились у меня постоянно два-три жандармских штаб-офицера, проводивших очень часто целый день. И при такой-то обстановке я должен был сдерживать себя не раз в разговоре по подобным делам. Вечером 20 апреля 1849 г., когда граф (А. В. Орлов), пригласив меня и Л. В. к себе, передал высочайшую волю о прекращении мною дальнейшего ведения дела и о передаче его в III отделение для рассмотрения и дальнейшего распоряжения, а Л. В. Дубельту для немедленного исполнения и пр., последний был поражен, как громом; во-первых, что граф таил более года предмет, прямо принадлежащий III отделению, а во-вторых, что я, по испытанной 37-летней взаимной дружбе, не сообщил ему своего поручения. В карете я ему объяснил, как это все сложилось, и он сознал, что в таких обстоятельствах поступил бы точно также, как если бы ему объявил такое молчание мой прямой начальник“. (См. „Записка И. П. Липранди“ в сб. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 11 и прим. 1-е). Достоевский, трудно сказать, насколько его искренно, свой рассказ об аресте, занесенный им в альбом дочери А. П. Милюкова, закончил лестным отзывом по адресу Л. В. Дубельта: „Долго рассказывать, но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек“ (см. „Петрашевцы“, сб. под ред. П. Е. Щеголева, т. III, М. 1928).

Членами комиссии по разбору бумаг были:

ГОЛИЦЫН Александр Федорович (29 июля 1796—12 ноября 1864) князь, состоял при III отделении, статс-секретарь по принятию прошений

впоследствии председатель Комиссии, произведшей расправу с Чернышевским, член государственного совета.

Об А. Ф. Голицыне известный эмигрант и автор памфлетов на Николаевскую Россию П. В. Долгоруков в „Петербургских очерках“ отзывался так: „Когда в 1831 году умер Константин Павлович, Голицын не долго оставался без места; он получил одну из важнейших должностей в империи: звание статс-секретаря у принятия прошений. В правлении самодержавном, в стране беззакония и бесправия, в стране, где против насилия свыше не существует иных средств к защите, как страх или подкуп там, где страху нет места, — в таком государстве звание статс-секретаря у принятия прошений облечено огромным влиянием... Вот уже тридцать лет, как Голицын занимает это важнейшее место — и его единственными помышлениями всегда были — удержаться на этом месте и получать как можно более наград! Он добровольно превратился в какого-то постоянно обязанного служителя главных начальников III отделения: угождал Бенкендорфу, угождал Орлову, угождал Дубельту и ныне угождает В. А. Долгорукову... Всякий раз в течение этих 30 лет, как Николай I, Александр II или тайная полиция хотели придать какому-нибудь делу ход незаконный, хотели произвести какое-нибудь следствие не на основании порядка, законом предписанного, всякий раз незаконное исполнение прихоти их возлагалось именно на того самого сановника, который поставлен в России на охранение справедливости и на стражу закона: возлагалось на статс-секретаря, состоящего у принятия прошений на высочайшее имя приносимых. Для него губить людей — составляет какого-то рода наслаждение: сколько юношей лишились всей своей будущности, сколько семейств предано на жертву страдания для того, чтобы статский советник 1831 года был в 1864 году действительным тайным советником, членом государственного совета и андреевским кавалером!“ (см. П. В. Долгоруков „Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта 1860—1867 гг.“. Изд. „Север“, М. 1934, стр. 229 и 230).

САГТЫНСКИЙ. Адам Александрович, тайный советник, чиновник особых поручений в III отделении с. е. и. в. канцелярии.

ГЕДЕРШТЕЙН, Александр Карлович (умер в 1878 году), чиновник II отделения, секретарь шефа жандармов, действит. статский советник, впоследствии член комиссии прошений на высочайшее имя.

ЛИПРАНДИ, Иван Петрович (17 июля 1790—9 мая 1880)— чиновник особых поручений министерства внутренних дел, председатель комиссии о раскольниках и сектантах, автор трудов по военной истории и расколу и воспоминаний о А. С. Пушкине. По предложению Следственной комиссии он составил особую записку о ходе наблюдений за петрашевцами и „мнение“ о злоумышленниках, где изложил свой взгляд на причины зарождения тайных обществ, обрисовал расстройство среди петрашевцев, дал характеристику социального состава петрашевцев, отразил также и сугубо правительственную полицейско-жандармскую точку зрения на это явление, как серьезный заговор большого размера (напечатано и то и другое в сб. „Петрашевцы“, Изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 11—25). Ценны и примечания Липранди, сделанные к его „мнению“, где приведены были сведения о подъеме революционного движения в стране за 1846—1848 гг. (см. стр. 20 и др.), выражено понимание революций в России как выступления масс, ее

тактики (стр. 24) и т. п. Словом, И. П. Липранди выступает в последнем документе как серьезный и вдумчивый идеолог полицейского сыска, имевший все шансы конкурировать с Дубельтом в вопросе о руководящей роли в III отделении.

ЗАПИСКА БЕЛИНСКОГО К ДОСТОЕВСКОМУ — об этом Достоевский сам говорит выше на стр. 143 и 144; 158, 167.

ПИСЬМО ПЛЕЩЕЕВА ИЗ МОСКВЫ К ДОСТОЕВСКОМУ опубликовано В. И. Семевским в его статье „Петрашевцы“: С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев („Голос минувшего“, 1915, декабрь, стр. 58—61).

ПЛЕЩЕЕВ, Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт. „У него бываюи также собрания, но дней для сего особенных не назначено“ (Дело, ч. 2, л. 28). Присужден к каторге на 4 г., по конфиркации сослан рядовым в Оренбургский лин. батальон. Биография Плещеева дана в статье В. И. Семевского: „Петрашевцы С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев“ („Гол. мин.“, 1915, ноябрь, стр. 33—42).

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ, НАЙДЕННЫЕ У ДОСТОЕВСКОГО:

а) Книга Э. Сю „Пастух из Кравана или демократические беседы о республике, претендентах и предстоящем президентстве“ — носила пропагандистский характер, выражая взгляды Э. Сю, как сторонника буржуазно-демократической революционности. (Подр. см. далее на стр. 220).

б) Автор второй книги „La celebration du dimanche“ (Празднование воскресенья) — Прудон (первое ее издание 1839.; 3-е изд. в 1849 г.). Может быть, эта книга и есть то самое „какое-то сочинение“ Прудона, которое брал Достоевский из библиотеки Петрашевского, как сообщает об этом В. И. Семевский (см. его работу „М. Б. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, часть I, М. 1922, стр. 169; см. об этом и выше на стр. 203).

УКАЗ ОБ ОТСТАВКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (стр. 96 и 97)

Печатаем текст подлинника из „Следственным деле об отставном инженер-поручике Достоевском“ 1849 г. № 55, часть 26,4 отд. I стола, лл. 40—44 (быне в ЛОЦИА).

Из этого документа видно, что Достоевский, начав службу 16 янв. 1838 г., оставил ее 19 окт. 1844 г., т. е. прослужил всего лишь 6 лет 10 месяцев и 3 дня. Из писем его к брату Мих. Мих. Достоевскому известно, что Ф. М. очень скоро по вступлении на службу начал тяготиться ею. Так, в письме Мих. Мих. Достоевскому 30 сент. 1844 г. Ф. М. писал: „Подал я в отставку от того, что подал, т. е. клянусь тебе, не мог служить более. Жизнь не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, след. зачем терять хорошие годы? А, наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи пожалуйста, чтобы я стал делать без Петербурга. Куда бы я годился? Ты меня хорошо понимаешь?“

Отметки в конце указа представляют собой не что иное, как следы прописок его владельца в Петербурге и в Ревеле летом 1846 г., где он гостил у брата Мих. Мих. Достоевского.

Донесение агента Антоненки, вместе с двумя следующими документами составляло „Сводку по делу“ № 12. Всю эту „Сводку“ печатаем по подлиннику, сохранившемуся в Следственном деле 1849 г., № 55, часть 26,4 отд. I стола лл. 45—56.— (ныне в ЛОЦИА) „Сводка“ имеет в подлиннике заглавный лист „Достоевский 1-й отставной инженер-поручик“ В сводке намечены четыре графы: 1) Донесения Антонелли, 2) Показания свидетелей, 3) Показания обвиняемого и 4) Отметки. Здесь мы воспроизводим текст 1-й, 2-й и 3-й граф. 4-я графа в деле осталась незаполненной.

За кружком Петрашевского было организовано наблюдение за 13 месяцев до ареста, который был произведен в ночь на 23 апреля 1849 г. „Собрание сведений о Петрашевском, — сообщает И. П. Липранди, — по высочайшему повелению, началось в марте 1848 года. Министру внутренних дел (так как он первый доставил известный литографированный листок, розданный в дворянских собраниях некоторым членам, — Липранди понимает здесь литографированную записку М. В. Буташевича-Петрашевского под названием „О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений“, розданную им в губернском дворянском собрании Петербургской губернии в феврале 1848 года, — но обсуждение ее не было допущено. Напеч. в сб. „Петрашевцы“, сб. материалов, под ред. П. Е. Щеголева, т. II, ГИЗ 1927, стр. 82—84; „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, 1907, 99 и 100) приказано было по этому случаю снестись с шефом жандармов, для надлежащего разъяснения содержания и смысла литографированной речи (Липранди неточно называет „записку“ „речью“). Вследствие чего, по обоюдному их согласию, собрание этих сведений было возложено на меня... Я согласился на принятие этого поручения, с тем только условием, чтобы все то, что будет мною собираемо, я представлял министру внутренних дел, как в существе министру полиции государства, и в ведении которого я служил; так это и продолжалось во все время, т. е. до 20 апреля 1849 года, когда приказано было мне передать все дело Л. В. Дубельту с четырьмя именными списками лиц, более или менее принадлежавших в обществе, с отметками против каждого степени их участия и пр., для произведения по усмотрению шефа жандармов, единовременного ареста, без всякого уже с моей стороны участия“ (подр. см. „Записка И. П. Липранди“ в сб. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 11 и 12; те же обстоятельства вкратце, но в пользу III отделения освещены во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, напеч. в изд. „Петрашевцы“, Сб. материалов, Ред. П. Е. Щеголева, т. III, ГИЗ, 1928, стр. 3). В помощь И. П. Липранди был взят сын живописца Антонелли, определенный чиновником в тот же департамент внутренних сношений, министерства иностранных дел, где служил Петрашевский. Последний, по сообщению следственных органов и с их слов генерал-аудиториата, был осторожен в делах кружка, — и поэтому Липранди „приказано было непременно проникнуть в заседания (Петрашевского по пятницам) путем введения какого либо благонадежного лица“. На роль провокатора был намечен П. Д. Антонелли.

Агент этот был на вечерах Петрашевского семь раз, именно: 11, 18 и 25 марта, 1, 8, 15 и 22 апреля, и обо всем происходившем делал секретные, донесения, упоминая вместе с тем и о лицах, бывших на собраниях... (см. Петрашевцы“, сб. материалов, Ред. П. Е. Щеголева, 1928, т. III, стр. 4). На основании этих-то донесений и составлен был И. П. Липранди и тот (один из 4-х списков, о которых говорит Липранди — см. выше) „Список лицам, посещавшим с 11 марта 1849 г. собрания Петрашевского по пятницам“, который был напечатан в книге „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 25—34, и воспроизведен здесь выше на стр. 71.

В докладе генерал-аудиториата надо указать на неточность в утверждении об осторожности Петрашевского, на якобы таинственность собрания. Это не соответствует действительности и опровергается сообщением самого Липранди, который вопреки III отделению, возвышавшему авторитет его как своего агента, расторопность его и умение обнаруживать крамолу, доказывает, что Петрашевский ни мало не скрывался, всем был известен и весьма доступен для наблюдения.

В кружок Дурова и Плещеева Антонелли не проник — и сведений о заседаниях этого кружка он не успел собрать.

АНТОНЕЛЛИ, Петр Дмитриевич, р. 1825 г., сын академика живописца, студент. СПб Унив. филол. фак. по отд. восточной словесности. Когда, после возникновения подозрения на Петрашевского, решено было „отыскать лицо, могущее способствовать, при должном направлении, к раскрытию по делу всей истины“, то было обращено внимание на этого молодого человека, который „после должного испытания и подготовки, оказался весьма способным на это дело и согласился принять его на себя, но с условием, чтобы имя его не сделалось гласным“. (Дело, ч. 2, л. 68).

Д. Д. Ахшарумов сообщает, что в день ареста „сделалось нам всем известным, что список, который носим был при обходе (арестованных петрашевцев в III отделении) Орловым, начинался словами: „А...— агент наряженного дела“ („Из моих воспоминаний 1849 г.“, СПб., 1905, стр. 8), — и многие петрашевцы догадались, что это — Антонелли.

В Антонелли еще до ареста начали подозревать наблюдателя. „Мне вспомнилось, — рассказывает Д. Д. Ахшарумов, — что Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности А[нтонелли]. На предпоследнем собрании 15 апреля он отозвал меня в сторону и спросил: „скажите, вас звал к себе А[нтонелли]?“ Я ответил, что звал, но я не пойду, так как его вовсе не знаю. „Я хотел предупредить вас“, сказал он мне, „чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перознакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это, я не имею к нему доверия“. („Из моих воспоминаний 1849 г.“, СПб., 1905, стр. 9).

БАЛАСОГЛО Александр Пантелеймонович (род. 1813), сын генерала служил во флоте, потом перешел в Азиатский департамент. Стремился к изучению филологии и этнографии, но нужды семьи заставляли служить, немного писал. По первоначальным сведениям, — „один из важнейших“, „говорил против религии, и многие либеральные идеи, при чтении письма Белинского приходил от восторга в иступление“ (Дело, ч. 2, л. 25).

После предания суду, освобожден по ходатайству суда с высоч. соизволения, и отдан под надзор.

БЕРЕСТОВ Алексей Иванович (род. 1814), свободный художник, служил в комиссии по описанию одежды и вооружений Росс. Войска. Принимал участие в устройстве библиотеки для петрашевцев. Не судился.

КАЙДАНОВ Владимир Иванович (1821—1894), лицеист, приятель Петрашевского, служил в Деп. Внешней Торговли. Участник организации библиотеки для пользования посетителей пятниц. Не судим. Освобожден под надзор.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОЧ. ДРАМАТУРГА Н. И. ХМЕЛЬНИЦКОГО, напис. С. Ф. Дуровым (напеч. первонач. в журн. „Репертуар и Пантеон“, 1848 г. №№ 8 и 9; затем перепечатано в первом томе „Полного собрания соч. Хмельницкого“, изд. А. Смирдина 1849 г.), получило такой отзыв Антонелли „В этом предисловии, очень хорошо написанном, множество либеральных идей. Все общество рукоплескало, много хохотало над некоторыми выходками автора, который, впрочем, жаловался, что цензура очень многое пропустила“. В статье С. Ф. Дурова „Несколько слов о Н. И. Хмельницком“ либеральные идеи мог усмотреть, повидимому, Антонелли, в названии Дуровым драматурга „гражданином“, в указании, что он „жил еще в эпоху ч и н о л ю б и я“, но определившись на службу, сохранил „в душе весь жар истинного поэта“, не искал протекции, „смотрел на службу, как на широкое поле труда и пользы общественной“, любил чтение, причем ему нравились Мишель Шевалье — автор многих сочинений о социализме, сен-симонист, профессор либерал, выступал в 1848 году против Луи Блана и защищал свободу торговли. По словам Дурова, Хмельницкий „в этом смельчаке-инженере некоторым образом провидел благородное стремление целой нации“ (см. В. И. Семевский „М. Б. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы“, часть I, М. 1922, стр. 157).

ДУРОВ, Сергей Федорович (1816—1869), учился в пансионе СПб. Унив., отставной коллежский асессор. Литератор, поэт, переводчик. Ему принадлежит перевод популярного в то время стих. Барбье „Кайя“, напеч. без имени автора по цензурным соображениям в „Фин. вестн.“ 1846, кн. 10 (см. в издании „Барбье. Ямбы и Поэмы“. С предислов. М. П. Алексеева, Одесса, 1919, стр. XXIX). „Один из важнейших“. По отзыву Семенова Тянь-Шаньского („Детство и Юность“, стр. 205), был революционером, допускавшим путь насилия. Приговорен к расстрелу, по конфиркации — на каторгу на 4 г., потом в рядовые.

МОМБЕЛЛИ, Николай Александрович, р. 1823 г., из Черниговских дворян, поручик л. гв. Московского полка. „Один из важнейших“, „принимал участие в прениях на всех собраниях“, „признавал религию ненужною для благосостояния человечества“ (Дело, ч. 2, л. 31). Приговорен к расстрелу, по конфиркации к 15 г. каторжн. работ.

ГРИГОРЬЕВ 1-й — Николай Петрович (1822—1886), сын ген.-майора, поручик л. гв. конно-гренадерского полка. В чем именно он разошелся с мнением Момбелли по вопросу об освобождении крестьян, узнаем из доклада ген.-аудиториата: „Поручик Григорьев на слова Момбелли, что если теперь нельзя думать об освобождении крестьян, то, по крайней мере, священной обязанностью каждого помещика должна быть заботливость об обра-

зовании крестьян, заведении у них школ и внушении им о собственном их достоинстве, — сказал, что правительство запрещает учреждение школ по деревням и что примером тому служит его брат, который в селе своем хотел завести школу, — но ему запретили“ („Петрашевцы“, т. III под ред. П. Е. Щеголева, 1928, стр. 102). Автор „Солдатской беседы“, которую распространял Спешнев и которую слышал у последнего Достоевский. Напечатана „Солдатская беседа“ первоначально в „Былом“, 1906 г., № 5; затем в сборн. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 143—146; затем в докладе генерал-аудиториата в сб. „Петрашевцы“ т. III под ред. П. Е. Щеголева, стр. 103—107. Григорьев в своем показании говорит, что „первая часть сочинения его (т. е. „Солдатская беседа“) вылилась от негодования на развратных помещиков и вследствие жалости к отставным солдатам; а вторая часть есть чисто приобретение от социалистов — их слова и мысли“ („Петрашевцы“, т. III, под ред. П. Е. Щеголева, 1928, стр. 110). „За составление и распространение своего злоумышленного сочинения под заглавием „Солдатская беседа“, с употреблением в высшей степени дерзких выражений против священной особы в. и. величества, имевшей целью поколебать нижних чинов в преданности к престолу и повиновении начальникам“, Григорьев был приговорен к расстрелянию, по конфирмации замененному ссылкой на каторгу в рудники. Расстроенный умственно во время следствия, Григорьев после каторги заболел умопомешательством.

АХШАРУМОВ, Дмитрий Дмитриевич, р. 1823 г., был вольнослушателем СПб. Университета и в Институте Восточных Языков. Приговорен к расстрелу, по конфирмации на 4 г. в военные арестанты, потом рядовым на Кавказ. В 1862 г. окончил курс Медич. Академии, служил врачебным инспектором. В 1905 г. издал „Из моих воспоминаний 1849 года“.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ (стр. 101—102)

ТИМКОВСКИЙ Константин (род. в 1814 г.) учился в петербургском университете, отставной флотский офицер, титул. советник, чиновник особых поручений при мин. внутр. дел. Один из старейших по возрасту петрашевцев; ему шел 35-й год, когда он был арестован. Среди петрашевцев он мало выделялся; в „Списке“ агент Антонелли сообщал о его намерении „принести жалобу в правительственный сенат на неправильное его увольнение от службы“ и посещениях им Петрашевского 25 марта и 15 апреля. Поэтому в докладе генерал-аудиториата прямо говорится, что „в донесениях агента о Тимковском не упоминалось“ („Петрашевцы“, под ред. П. Щеголева том III, ГИЗ. 1928, стр. 112). Тимковский жил в Ревеле и приезжал изредка в Петербург. Материалом для его обвинения послужили главным образом его письма к Спешневу 21 дек. 1848 г., 11 января и 8 марта 1849 года и письмо к нему из Парижа агента мин. финансов Бутовского, который писал ему, что „приступает к истории коммунизма и социализма“ а также две запрещенные книги, найденные у Тимковского. Содержание его писем к Спешневу довольно подробно передано в докладе генерал-аудиториата (там же, стр. 112 и 113). В первом из них он говорит о своем отказе идти в великом посту — как показателе его убеждений и мере доверия к нему со стороны Спешнева. В других письмах говорит об организованных им

кружках в Ревеле с целью изучения социализма, о каком-то „знаменитом письме“ (одном и единственном), какое написал ему Петрашевский, высказывает подозрения насчет слежки за письмами на почте, и т. п. Словом, письма содержат материал для страдавшего излишней подозрительностью николаевского правительства, чтобы увидеть в авторе их „злоумышленника“, занимавшегося „распространением социальных систем“. Не найдя доказательств того, что Тимковский высказал „бозмутительные предложения и воззвания к ближнему восстанию“, суд оставил его в подозрении и осудил его в ссылку; по конфирмации — в арстангские роты на 6 лет.

СПЕШНЕВ, Николай Алексеевич (1829—1882)— курский богатый помещик и петербургский домовладелец. Учился в лицее, слушал лекции в СПб. Унив., курса, нигде не кончил, но отличался широкой начитанностью. Среди петрашевцев занимал особое положение, являлся почетным гостем во все кружки и собрания, умея всегда оказывать влияние. О взглядах его см. в вступительной статье (выше на стр. 11). Присужден к расстрелу, по конфирмации к каторге на 12 лет.

ВЫРАЖЕНИЕ ИЗ ПИСЬМА ПЛЕЩЕЕВА „о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве“, приведенное здесь, в тексте того письма, напечатанном в статье Е. И. Семевского „Петрашевцы“: С. Ф. Дуров, И. А. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев“ („Голос минувш.“, 1915, дек., стр. 54—61), не имеется, а поручение передать поклоны есть (см. стр. 61).

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО (стр. 103—107)

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в „Следственном деле об отставном инженер-поручике Достоевском“ (Дело аудит. департамента военного министерства 1 стола, 4 отделения, 1849, № 55, часть 26, лл. 46—54, (ныне в ЛОЦИА).

„Показания“ представляют сжатое переложение словами Достоевского его подробного „Объяснения“. Переложение это явно тенденциозно и обнаруживает попытку ведшего делопроизводство След. комиссии чиновника Шмакова наметить основные пункты обвинений Достоевского. При сравнении этих „Показаний“ с ответами Достоевского на отдельные вопросы решительно бросается в глаза близость вопросов с основными пунктами этих „Показаний“, к тому же составителем как „сводки“ (и входивших в нее „Показаний“) так и отдельных вопросов был тот же чиновник Шмаков.

ФОРМАЛЬНЫЙ ДОПРОС (стр. 108 и 109)

Печатаем по подлиннику, находящемуся в „Следственном деле об отставном инженер-поручике Ф. М. Достоевском“ (Дело аудитор. департамента военного министерства 1 стола, 4 отделения, 1849 г. № 55, часть 26, лл. 57—58, ныне в ЛОЦИА). Вопросные пункты подписаны „производителем дела статским советником Шмаковым“. Этот первый допрос был произведен Следственной комиссией, надо предполагать, 16 мая 1849 года.

В „Записке о действиях секретной следственной Комиссии“ за время с 26 апреля по 16 мая 1849 го да отмечено, что „с настоящего времени (т. е.

надо полагать с 16 мая) Комиссия приступит к допросам по законным формам, т. е. предложит лицам, находящимся под следствием, письменные вопросы пункты, приняв для составления их за основание как собственные предварительные показания тех лиц, так и содержание найденных у них бумаг“ (см. „Петрашевы“ изд. В. М. Саблина М. 1907, стр. 123).

МОЙ ОТЕЦ — Михаил Андреевич Достоевский (1788—1839—убит своими крепостными) с 1821 года был лекарем в больнице для бедных; вышел в отставку 1/VII 1837 г.; человек угрюмый, суровый и деспотичный; дети боялись его.

МАТЬ — Мария Федоровна, урожденная Нечаева (1800—1837) из старинного моск. купеческого дома; женщина, по словам Андрея Мих. Достоевского, редкой доброты, художественно и музыкально одаренная, была заступницей детей.

СЕМЕЙСТВО ХУДОЖНИКА МАЙКОВА, Николая Аполлоновича (1794—1873), работавшего для Исаакиевского собора, отца известных братьев Майковых, — о которых см. выше на стр. 187 и 188.

ДОКТОР ЯНОВСКИЙ, Степан Дмитриевич (1817—1897) — познакомился с Достоевским в 1842 году; дружба поддерживалась внимательным и заботливым отношением Яновского, как врача, к болезненному в те годы Достоевскому. Яновский примыкал к прогрессивному лагерю молодежи, интересовался молодой литературой, но расценивался современниками как скучный мещанин. Яновский написал воспоминания о Достоевском („Русский вестник“, 1885, кн. IV) не всегда достоверные и точные.

КРАЕВСКИЙ, Андрей Александрович (1810—1889) — издатель редактор с 1839 г. „Отечественных записок“, где писал Белинский и начал печататься Достоевский (с 1846 г.), беспринципный предприниматель, беззащитно эксплоатировавший Белинского, а затем и Достоевского; последний был у него в долгу, злился, но тем не менее большая часть произведений Д. напечатана была у Краевского. Каторга освободила Достоевского от кабалы Краевского; однако и после каторги „Село Степанчиково“ появилось у Краевского. Выше мы приводим в примечаниях (см. стр. 181) текст письма III отделения А. А. Краевскому по поводу печатавшейся „Неточки Незвановой“ в журнале Краевского в 1849 году.

РОДСТВЕННИКИ В МОСКВЕ — Нечаевы Федор Тимофеевич и Варвара Михайловна — дед и бабушка; Котельницкие — по бабушке; В. М. Котельницкий был проф. медиц. факультета и Куманины через тетку писателя Александру Федоровну Нечаеву (1756—1871). Подр. см. в работе М. В. Волоцкого „Хроника рода Достоевских“, изд. „Север“ М. 1935 г.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (стр. 110—145)

Печатаем по подлиннику следственного дела аудиториатского департамента военного министерства 1 стола 4 отделения 1849, № 55, часть 26 л. л. 59—118 (ныне ЛОЦИА). Показания не датированы, но подписаны Шмаковым.

Вопросы занимают левую сторону страницы, а ответы — правую. Вопросы писаны писарской рукой и скреплены по листам подписью „статский советник Шмаков“. Ответы, каждый в отдельности, подписаны „Федор

Достоевский“ или „отставной инженер-поручик Достоевский“. Подписи Достоевского не воспроизводим.

Показания производились, как мы указали выше (см. стр. 63—64), постепено за время с 8 мая по 20 июня и даже позже этого. Точных данных для приурочения показаний к отдельным датам нет; на основании одной записи в делах можно предполагать, что

8 июня были заданы вопросы 1—4 (см. стр. 110—111);

11 июня один был значительный вопрос о Головинском—это 13-й (стр. 117—120);

17 июня—вопрос 14-й (см. стр. 120—122);

20 июня—все остальные вопросы и показания.

Но при таком распределении получается неравномерность в показаниях в один раз даны обширные показания, в другой—мало. Возможно, что допросы шли и так: сначала, т. е. 8-го июня, были заданы вопросы о кружке Петрашевского—это первые 14 вопросов; затем 11 июня вопросы о разго- (ворах относительно восстания и о чтении письма Белинского к Гоголю 15—17 вопросы, см. стр. 120—122); 17 июня—вопросы о кружке Спешнева, Дурова (см. стр. 129—140) и 20 июня остальные. Это предположение оправдывается и другими данными.

В заседании 31 мая Следственная комиссия расширила круг своих работ и приступила „к рассмотрению составленных ее канцелярией выборок о каждом обвиняемом из донесений Антонелли и двух других агентов, собственных показаний обвиняемых и найденных документов и постановила по мере изготовления этих извлечений, делать „формальные допросы (или „по законным формам“) обвиняемым по составленным в Комиссии вопросам пунктам, начав такие допросы с заседания 1 июня“ (см. В. И. Семевский— „Следствие и суд по делу петрашевцев“ в журн. „Русские записки“, 1916, № 10, стр. 30).

В „Записке о действиях секретной Следственной комиссии“ за время с 6-го по 13 июня 1849 г. указано, что в это время допросы произведены были Достоевскому 1-му в числе других (Тимковский 2-й, Кайданов, Ястржембский). „Ответы в общем объеме не доставили Комиссии никаких новых сведений, заключающих в себе особую важность, но подтверждают зловерное направление всех собраний, на которых бывали лица, содержащиеся в крепости, и преступность их, за исключением некоторых, в большей или меньшей мере“. (См. „Петрашевцы“, изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 130). Нам представляется, что эта характеристика относится и к отдельным показаниям Ф. М. Достоевского, касающимся собраний кружка Петрашевского, что в нашем издании занимают страницы 100—129.

Допрос Достоевского можно предполагать, состоялся 8 июня 1849 г., поскольку в журнале заседаний Следственной комиссии (№ 40, л. 125) записано о формальном допросе Достоевского за этот день.

В. И. Семевский на основании подлинного дела военного министерства указывает также на 8-е июня, когда был произведен новый допрос Ф. М. Достоевскому, и добавляет, что и ему (т. е. Достоевскому) пришлось давать показания не только о пятницах Петрашевского, но и о вечерах Дурова и Плещеева (см. его статью „Следствие и суд по делу петрашевцев“ в журн. „Русские записки“, 1916 г., № 10, стр. 32). Если понимать это замечание

В. И. Семевского в смысле характеристики содержания всех вообще показаний Достоевского, то оно вполне оправдывается. Однако есть у нас основания более точно датировать эту большую группу показаний Достоевского, распадающуюся по содержанию на две части: в одной речь идет о вечерах Петрашевского, а в другой — о вечерах Дурова. В нашем распоряжении кроме этого есть данные, что Комиссия не сразу в один день сняла этот формальный допрос с Достоевского. 8-го июня она допросила его о вечерах Петрашевского, а о вечерах Дурова позднее с 13 по 20-е июня. Известно, что 11 июня Следств. комиссия произвела допрос Ф. М. Достоевскому, как об этом отмечено в ее журнале № 44, л. 130 обор.. В журналах ее заседаний отмечены дополнительные допросы, сделанные Достоевскому, дважды: 17 июня в журнале № 51, л. 145 и 20 июня в журнале № 53, л. 149.

С 13 по 20-е июня Комиссия вновь производила формальные допросы ряду лиц: Дурову, Дееву, Михайлову, Ламанскому, Григорьеву, Момбелли, Плещееву и др.; в числе их, и двум Достоевским. (См. „Записку Следственной комиссии“ в изд. „Петрашевцы“, В. М. Саблина, М. 1907, стр. 131).

В этих допросах Комиссия стремилась раскрыть деятельность кружка Дурова, о существовании которого ранее, т. е. с 26 апреля до 16 мая, она не предполагала. (См. в сб. „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 123). Поэтому вторую часть отдельных показаний Ф. М. Достоевского, связанных с кружком Дурова, надо считать сделанными позднее, чем первые. Здесь эта часть показаний находится на стр. 129—145.

Следственная комиссия, собрав эти допросы, дала о них такой отзыв: „Допросы сии представляют некоторые новые частности относительно вечеров, бывавших прошедшею зимою у коллежского асессора Дурова, который жил вместе с поручиком лейб-гвардии егерского полка Пальмом и коллежским секретарем Щелковым. К ним собирались люди, большею частью занимающиеся науками или искусствами, как-то: Львов, Достоевские, Филиппов, Спешнев, Плещеев, Момбелли, Григорьев, и желавшие составить между собою отдельный круг, менее смешанный, нежели у Петрашевского. Первоначально вечера эти были чисто литературные и музыкальные, но через несколько времени они приняли направление политическое, чему, как кажется, наиболее содействовали Момбелли и Филиппов. В числе сочинений, которые на них обсуждались, стали читать статьи, противные существующему порядку и правительству; засим предложено было в том же духе разрабатывать разные предметы исторические и статистические, и наконец, полагалось то, что на подобном основании будет написано, распространять посредством литографии. Впрочем, всех вечеров у Дурова было, повидимому, не более 7 или 8, ибо когда явно обнаружилось что цель их изменяется, то Достоевский 2-й (это Мих. Мих. Достоевский, арестованный позднее Ф. М., именно в ночь на 6 мая), Пальм и некоторые другие признали необходимым их прекратить. Таким образом, в апреле месяце незадолго до арестования вышепоименованных лиц собрания их были совершенно кончены“. (См. „Петрашевцы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 131). В сообщениях о допросах до 13 июня Комиссия о вечерах у Дурова не говорит, и, следовательно, она не знала об них. Достоевскому давали еще дополнительные допросы в числе других, позднее этого. Так, за время с 19 по 24 июля дополнительно вместе с ним комиссия допросила Петрашевского, Момбелли, Катенева и

мещанина Василия Быстрова, прикащика у содержателя табачной лавки мещанина Петра Григ. Шапошника. (См. „Петрашевы“ изд. В. М. Саблина, М. 1907, стр. 133). Но о чем допрашивались в этот раз названные лица — неизвестно.

КРОПОТОВ,¹ Дмитрий Андреевич (род. 1818 г.) шт.-капитан I кадетского корпуса, сотрудник „Словаря иностранных слов“, не судился, но отдан под секретный надзор.

ДЕСБУТ младший (Дебу 2-й, Дибут 2-й) Ипполит Матвеевич (1824—1890) из древнего франц. рода Desbout, юрист по образованию, служил в Азиатском департаменте. Приговорен к расстрелу, по конфирмации на 2 года арестантских рот.

ЛБВОВ, Федор Николаевич (1824—1885) шт.-капитан лейб-гвардии Егерского полка. Репетитор по химии в Павловском кадетском корпусе. Читал доклады о специальном и энциклопедическом образовании и о тесной связи промышленности и науки, доказывал необходимость изучения естественных наук. По донесению Антонелли, „хотя и не говорил особенных речей, но принимал живое участие в прениях и много горячился“ . („Дело“, часть 2, л. 28). Приговорен к расстрелу, по конфирмации — на 12 лет в каторгу.

КУЗЬМИН 1-й, Павел Алексеевич (1819—1885), штабс-капитан генерального штаба, впоследствии генерал-лейтенант. Принимал участие в беседах. Не судился, но был отдан под секретный надзор. Воспоминания его напечатаны в журн. „Русская старина“, 1895, № 2.

КУЗЬМИН 2-й, Алексей Алексеевич (род. 1812, брат Кузьмина П. А.), отставной офицер 15 флотского экипажа; привлекался к следствию, но был выпущен и отдан под секретный надзор.

ДЕСБУТ — старший (Дебу 1-й, Дибут 1-й,) Константин Матвеевич (род. 1810 г.), служил в Азиатском департаменте; присужден к расстрелу; по конфирмации на 4 года арестантских рот.

ЧИРИКОВ, Михаил Николаевич (род. 1803) служил в государственном банке. Жил, действительно, в квартире Петрашевского; звонил в колокольчик на собраниях. Не судился, но был отдан под секретный надзор.

ДЕЕВ, Платон Алексеевич (род. 1824), не окончивший курс петерб. университета; одно время жил у Петрашевского. Не судился, но был отдан под секретный надзор.

МАДЕРСКИЙ, Александр Тимофеевич (род. 1825) — вольнослушатель университета, учитель, в другом официальном документе о нем сказано: „был на всех собраниях, жил у Петрашевского и во время собраний хозяйничал“. (Дело, ч. 2, л. 31). Не судился, но был отдан под секретный надзор.

ЩЕЛКОВ, Алексей Дмитриевич (род. в 1825) служил в канцелярии петербургского генерал-губернатора, музыкант-виолончелист, сожитель Дурова и Пальма; бывал на собраниях. Не судился, отдан был под секретный надзор.

¹ Более подр. биографические сведения об этих петрашевцах см. в „Биографическом алфавите“, сост. В. Р. Лейкиной и напечатанном в качестве приложения к III тому сб. „Петрашевы“ под ред. П. Е. Щеголева. ГИЗ. 1928, стр. 345—357.

КАШКИН, Николай Сергеевич (род. 1829—жил до 1917 года), сын декабриста С. Н. Кашкина, помещика Калужской губ. Служил в Азиатском департаменте. С октября 1848 г. собирал у себя кружок „фурьеристов“. По сообщению Антонелли „находился в высшем обществе, получил образование в лицее и чрезвычайно свободных мнений. Принимал живое участие в прениях“ („Дело“, часть 2, л. 22). Приговорен был к каторге на 4 года, по конфирмации отправлен рядовым на Кавказ. В 60-е годы видный либеральный общественный деятель в Калужском Комитете по крестьянским делам. (См. сообщение И. М. Троицкого „Письма Н. А. Серно-Соловьевича к Н. С. Кашкину“ в сб. „Революционное движение 1860-х гг.“. Изд. Политкаторжан. 1932, стр. 103—126).

ДАНИЛЕВСКИЙ, Николай Яковлевич (1822—1885)— студент петерб. университета. Фурьерист, читал у Петрашевского изложение системы Фурье. Впоследствии известный публицист и философ реакционно-славянофильского лагеря, сторонник узкого национализма, доказывал в своей книге „Россия и Европа“ (1869) непримиримую враждебность славянского мира и Европы. После предания суду подал оправдательную записку и с „высочайшего соизволения“ был освобожден от суда, выслан в Вологду и отдан под секретный надзор.

ЛАМАНСКИЕ БРАТЯ: Порфирий Иванович (род. в 1824), окончил Институт корпуса инженеров, слушал политэкономия в петерб. университете; позднее видный либеральный общественный деятель. Не судился, отдан под секретный надзор. Евгений Иванович (1825—1875), окончил александровский лицей, служил в департаменте внешней торговли. Из его воспоминаний видно, что в юные годы не был сторонником социализма, но горячо отстаивал свободу торговли, что казалось опасным в глазах Следственной комиссии. Впоследствии известный государственный деятель—финансист. Не судился, был отдан под секретный надзор.

КАШЕВСКИЙ, Николай Адамович (род. в 1820) окончил философское отделение моск. университета; чиновник морского министерства, музыкант. Посещал Петрашевского, а с 1847 г. и Дурова. Не судился, был отдан под надзор.

ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА. Достоевский заканчивал „Неточку Незванову“, которую начал писать в 1849 году, продолжил в 1847 и 1848 гг. 1-ю часть ее в марте 1849 г. он уже сдал в „Отеч. записки“ А. А. Краевскому — и послал вместе ее с письмом на имя последнего от 25—26 марта 1849 г. (см. „Письма Достоевского“, т. I, стр. 52 и 53).

АВТОРОМ „СОЛДАТСКОЙ БЕСЕДЫ“ (а не „Сказки“, как неточно назвал ее в первый раз Ф. М. Достоевский) был Григорьев, Николай Петрович (см. о нем выше на стр. 212 и 213). Рукопись „Солдатской беседы“ была найдена в бумагах Спешнева и 20 мая 1849 г. поступила из комиссии кн. Голицына в Следственную комиссию.

МИЛЮКОВ, Александр Петрович (1817—1897), педагог, историк литературы, сотрудник многих журналов. В 1847 г. издал „Очерки по истории русской поэзии“. Милюков входил кроме кружка Дурова (у Петрашевского он не бывал) в кружок Иринарха Введенского, где бывал Чернышевский. Переведенное им — сочинение Ламенне. Суду не предавался, был отдан под надзор. В 60—70-е годы держался умеренно-либеральных взглядов.

БЕЛЕЦКИЙ, Петр Иванович (род. в 1819 г.), окончил петербургск. университет, учитель всеобщей истории 2-го кадетского корпуса. Значился в списке № 4 из 71 лица, „более или менее прикосновенных к делу о собраниях Петрашевского“. По донесению Антонелли, „обнаружил самые преступные замыслы“, говорил об успехах пропаганды в его классе, что из него „выйдут люди, которые двинут наконец Россию вперед“ („Дело“, ч. 2, л. 236). Не судился, но был отдан под секретный надзор. За оскорбление Антонелли на улице выслан в Вологду.

ЧЕРНОСВИТОВ, Рафаил Александрович (род. в 1810 г.), служил в Сибири, отставной офицер, усмирал восстание пермских крестьян в 1841—1842 гг. Посещал Петрашевского во время приезда в Петербург в конце 1848 г. Значился в списке № 3 лиц, „более или менее подозреваемых в сношениях, как с обществом Петрашевского, так и с другими“. По донесению Антонелли, Петрашевский привлек его в связи с мыслью о подготовке восстания в Сибири. „Человек с необыкновенно либеральными мнениями, говорил чрезвычайно смело, до того, что прослыл агентом III-го отделения“ („Дело“, часть 2, л. 58). Арестованный в Сибири, по суду был оставлен в сильном подозрении и выслан в Вятскую губернию.

ЭТОЙ ЗАПИСКИ БЕЛИНСКОГО в делах не обнаружено, — текст ее в печатных изданиях также неизвестен. Достоевский умолчал вовсе о своих спорах с Белинским по поводу атеизма, о социализме и о том, как Достоевский переживал внутреннее противодействие, когда Белинский обращал его в „свою веру“, т. е. в социализм.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ: сочинение Евгения Сю „Le Berger de Kravan“ („Пастух из Кравана“) в двух частях изд. в 1848—1849 гг. Первая часть этого сочинения имела подзаголовок: „Entretien socialistes et democratiques sur la Republique et les potentats monarchiques“ (Социальные и демократические разговоры о республике и монархических владыках). Автор характеризует первую часть своего сочинения так: „Оно содержит 8 глав, где рассматриваются все горести и весь позор, от которых страдает народ при монархическом правлении, и где титулы различных претендентов обсуждаются с демократической точки зрения“. Вторая часть книги была озаглавлена так: „Entretiens démocratiques et socialistes sur les petites livres de messieurs de l'Académie des Sciences morales et politiques et sur prochaines selections“ (Демократические и социальные разговоры о маленьких книгах членов Академии моральных и политических наук и о будущих выборах).

Другое сочинение Прудона — „La cèlèbration du dimanche“ („Празднование воскресенья“), это одно из ранних его произведений (1839 г.), в котором он доказывал пользу празднования воскресенья и высказал здесь в основном те идеи, которые составили содержание всей его системы взглядов как идеолога мелкого собственника и теоретика анархизма. (См. еще выше стр. 203 и 209).

СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА „Москва и Петербург“, написана была в Новгороде в 1842 году. По словам Герцена, статья „понравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях“. Отрывки из нее были напечатаны в 1846 г. в рассказе „Станция Едрово“, но с выпуском, конечно, „всех резких мест“, которые и „составляют все достоинство этой шутки“ (Герцен). Статья

Герцена представляет собой резкую сатиру на социально-политический уклад жизни тогдашних столиц. (См. А. И. Герцен „Полное собр. сочинений и писем“, т. III, П. 1915 г., под ред. М. К. Лемке, стр. 8—16).

ИЗ ДЕЛА О ТИТУЛЯРНОМ СОВЕТНИКЕ АПОЛЛОНЕ МАЙКОВЕ... О РОМАШОВЕ, САЛТЫКОВЕ и др. (стр. 146—152)

Все эти дела входят в состав „Дела“ аудиторiatского департамента военного министерства 1-го стола, 4 отделения, 1849 г., № 55, что и „Дело“ о Ф. М. Достоевском, которое составляет лишь 26-ю его часть. Перечень всех 136 частей этого дела дан в приложении к сб. „Петрашевцы“, т. III, ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1928, стр. 365—372.

ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА (стр. 153—156)

Печатаем из дела аудиторiatского департамента военного министерства 1-го стола, 4 отделения 1849 г. № 58, часть 26, лл. 119—129. Эта выписка вместе с „Показаниями обвиняемого“ с некоторыми изменениями и сокращениями в обоих текстах была положена в основу „Доклада генерал-аудиторiatа“ по делу петрашевцев в части касающейся Ф. М. Достоевского. Отметим отличия „Выписки“ от „Доклада“. В „Докладе“ соблюден официальный тон. Он начинается с сообщения биографических сведений и данных из послужного списка Достоевского. Начало Доклада, где идет речь о письме Белинского и о Петрашевском, представляет сокращенное повторение „Показаний обвиняемого“, — а вся вторая, значительная часть повторяет с некоторыми сокращениями текст данной „Выписки“. В „Выписке“ имеем в самом конце большой отрывок о „западных переворотах“, начиная словами: „Вся эта ужасная драма сильно занимала его“, удаленный из „Доклада“. Но в „Выписке“ отсутствует заключение „Доклада“, в котором генерал-аудиторiat указал на „раскаяние“ Достоевского на суде.

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА (стр. 160—167)

Печатаем текст „Доклада генерал-аудиторiatа“ по сб. „Петрашевцы“, т. III под ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1928, стр. 200—207.

ПОДПИСКА ДОСТОЕВСКОГО В ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ (стр. 168)

Печатаем по тексту из дела аудиторiatского департамента военного министерства 1-го стола 4 отдел. 1849 г., № 55, часть 120, л. 395.

ПОКАЗАНИЯ НА СУДЕ (стр. 269)

Печатаем текст из „Доклада генерал-аудиторiatа“, взятого из дела генерал-аудиторiatского военного министерства 1-го стола 4 отдел. 1849 г. № 55, часть 120, л. 391 и напечатанного в сб. „Петрашевцы“, т. III, ред. П. Е. Щеголева, 1928, стр. 207.

ПРИГОВОР СУДА (стр. 270)

Печатается текст из „Дела“ 1849 г. № 5, часть 120, л. 391—392; напечатан в сб. „Петрашевцы“ т. III, ред. П. Е. Щеголева, 1928, стр. 207 и 208.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА (стр. 171—173)

Печатаем по тому же изданию, стр. 311—312, 328, 332—333 и 335. Подлинник всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата находится в „Деле“ военного министерства 1849 г. № 55, часть 120, л. л. 577—578 и 617—621.

ПРЕДПИСАНИЕ О ВЫСЫЛКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СИБИРЬ (стр. 174)

Предписание печатаем по копии, снятой П. Е. Щеголевым из дела Алексеевского рavelина СПб. крепости № 35 (начато 26 января 1849 г., кончено 7 февраля 1850 г.).

РАПОРТ КОМЕНДАНТА КРЕПОСТИ И. А. НАБЕКОВА ОБ ОТПРАВКЕ В СИБИРЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И ДР. от 31/І 1850 г. (стр. 177)

Печатаем рапорт по копии, имеющейся в деле III отделения с. е. и. в. канцелярии I экспед. 1849 года № 214 с надписью на обложке „Донесения по делу о Буташевиче-Петрашевском“ часть 13-я: „Об инженер-поручике Федоре Достоевском“ (л. 4).

На копии имеются пометы, сделанные в III отделении о времени получения рапорта: „31 января 1850 г. № 448“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В РАВЕЛИНЕ

В Петропавловскую крепость Достоевский вместе с петрашевцами был доставлен с 10¹/₂ часов вечера 24 апреля 1849 г. до 2 часов пополуночи 25 апреля. В Алексеевский же рavelин было посажено 13 человек из числа всех арестованных. Вот их фамилии и номера тех камер, в которые их поместили: А. П. Баласоглу — № 10, был освобожден 9 ноября 1849 г.; С. Ф. Дуров — № 16; Алексей Алексеевич Кузьмин (брат Павла Алексеевича Кузьмина, автора мемуаров) — № 4, был освобожден 17 июля; М. В. Петрашевский — № 1, Феликс Густавович Толь — № 2; Вас. Андреевич Головинский — № 17; Петр Иванович Белецкий — № 7, освобожден 10 июля; П. Н. Филиппов — № 8; Ф. М. Достоевский — № 9; Петр Григорьевич Шапошников — № 14; Вас. Петр. Катенев — № 11, отправлен 23 июля в госпиталь; Алексей Дмитриевич Толстов — № 15, отправлен 26 июля в III отделение и оттуда в Отд. Кавказский корпус Дагестанского пехотн. полка, и Иван Львович Ястржембский — № 12. Из непетрашевцев в это время в рavelине был губернский секрет. Петров, доставленный в рavelин 19 марта 1849 г. и отправленный 28 октября того же года на службу в Олонец. Кроме того, 5 марта 1849 г. был доставлен, а 18 марта освобожден камер-юнкер Юр. Фед. Самарин, примыкавший к славянофилам (об этом подр. см. „Из записок А. О. Смирновой“ — „Русск. архив“, 1895 г., кн. 9, 79—82; в письме И. С. Аксакова к А. О. Смирновой 16 мая 1849 г. в „Русск. архиве“, 1895, кн. 12, 430—431; у М. Н. Лемке „Николаевские жандармы и литература 1825—1835 г.“, изд. 2-е О. Н. Поповой. СПб., 1907, стр. 197).

Первым трем — Баласоглу, Дурову и Кузьмину комендант предложил ассигновать на пищу по 28¹/₂ коп. серебра, а всем остальным по 18 коп. серебра.

22 июня к названным заключенным был присоединен еще Раф. Алекс. Черносвитов, помещенный в камеру № 7.

Алексеевский рavelин, куда были заключены Достоевский и его 12 товарищей, был самым страшным тюремным застенком со времен Петра I до Александра III. Алексеевский рavelин был особенным, секретнейшим местом заключения среди других секретных темниц Петропавловской крепости. По рассказу И. В. Борисова „видеть его (т. е. Алексеевский рavelин) могли с птичьего полета те, кто принимал участие в торжественном крестном ходу по стенам крепостных бастаионов в Преполовение (т. е. праздник, проводимый церковью на 25 день после пасхи)... взгляд крестоходцев невольно останавливался

с любопытством и недоумением на внутреннем пространстве этого бастиона, тихом и безлюдном, по середине которого стоял каменный белый одноэтажный трехугольный дом, с окнами по всем трем сторонам, стекла которых на две трети снизу закрашены были густо маслом, и с одной стороны дверью и караульной будкой около нее. Но вот из-за угла показался солдат-часовой с обнаженною у плеча саблей, и любопытный взгляд крестоходца из простого недоумения переходит уже в выражение страха и тайной боязни чего-то“ („Алексеевский рavelин в 1862—1865 гг.“ Из моих воспоминаний — „Русская старина“, 1901, кн. XII, стр. 574).

Наружному виду рavelина и усиленной охране соответствовали и внутренний режим и система управления рavelином.

Фактическим руководителем рavelина был, конечно, сам царь. Без его повеления узнику нельзя было ни войти, ни выйти отсюда. Крепостью управлял комендант, рavelином — свой смотритель со своим помощником — обер-офицером и с своей собственной инвалидной командой в 50 человек. Войти в камеру заключенного могли только комендант, начальник III отделения и смотритель; свиданий, конечно, никаких не было и не разрешалось. Книги доставлялись преимущественно библиотекой рavelина и состояли главным образом из книг богословского содержания. Прогулки разрешались не всегда и на малое время. Деньги на содержание арестантов отпускались III-м отделением, а на содержание рavelина, как было положено жидованье в 1812 году по 10 700 рубл. ассигнациями, так и в 50-е годы цифра оставалась все та же.

Комендантом крепости с 1848 года был генерал Иван Александрович Набоков (подр. см. выше на стр. 204—205). Он был председатель следственной комиссии по делу петрашевцев. Первое появление Набокова в его мрачном царстве, когда петрашевцы были посажены в крепость, очень ярко запомнилось Д. Д. Ахшарумову. Последний так рассказывает об этом: „Прошло некоторое время (после водворения петрашевцев в крепости по казематам), когда послышались в коридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Я слышал как втыкались в двери других келий ключи и они открывались, и шестые это производилось подряд во все отдельные помещения. Вот и до меня очень скоро дошла очередь. Ключ всунут был не вдруг, казалось, ошибкой не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь отворилась настежь: в нее вошел толстый, старый генерал, в сопровождении двух офицеров и служителей: „Что вы? — Как живете, все-ли благополучно? — Все ли имеете? Я комендант крепости“. (Это был генерал Набоков). — „Мне очень холодно, прикажите затопить печь“ — ответил я. Тогда отдано было, с гневом, приказание затопить немедленно печи везде, „чтобы не жаловались более на холод“. С этими словами он вышел со своей свитой и я остался вновь один, запертый на ключ. Таково было быстрое посещение генерала! — А другие все нужды? „Все ли я имею?“ — у меня ничего нет! Ни воды, ни пищи, я не умывшись с утра“ („Из моих воспоминаний 1849 года“. СПб., 1905, стр. 10).

Смотрителем рavelина был подполковник Ксаверий Игнатьевич Яблонский, в 1849 году имевший 74 года жизни. Он начал служить с „низов“: в 1799 году он вступил в с.-петербургский почтамт инвалидов, в 1800 году был произведен в почтальоны, в 1808 году — в фельдъегери,

а дальше пошла карьера. С 1828 года он был определен в смотрители рavelина, а через 20 лет в 1848 г. был произведен уже в подполковника. „Яблонский, — вспоминает о нем Ястржембский, — производил на меня неизмеримо удручающее впечатление. Высокий ростом, кривой на один глаз, седой, как лунь, в то время как я привык видеть самых старых генералов черноволосыми (как известно, тогда красить свои куафюры военным было обязательно), он единственным своим глазом всматривался в меня так пристально, что, мне казалось, он так и хотел сказать: „знаю я тебя, голубчик... лучше сознайся“.

Не могу допустить, что это впечатление явилось у меня вследствие того, что он был тюремный смотритель. Ведь был же там и другой офицер, инвалидный поручик, но он на меня нимало не производил отталкивающего впечатления. То был обыкновенный служака, который исполнял свою должность бессознательно, не сознавая решительно всей ее нравственной неприятности. Напротив, Яблонский, видимо, знал, что делает, он сознавал всю подлость своей обязанности и все таки ради разных выгод исполнял ее с *amore* (с любовью). В его единственном взгляде ясно отразились кровожадность кошки и хитрость лисицы. С первого взгляда его собеседника могла ввести в обман ленточка Георгия в петлице, но это продолжалось недолго, в особенности, если делалось известно, что он орден этот получил, служа в фельд'егерях и храбро удирая на фельд'егерской телеге в 1812 г., когда ему в глаз выстрелил какой-то французский застрельщик“. (Цитирую по книге „Петрашевы в воспоминаниях современников“, Сборн. материалов составил П. Е. Щеголев, ГИЗ, 1926, стр. 149 и 150. Первоначальные воспоминания Ястржембского печатались в журнале „Минувшие годы“, 1908, кн. I.)

„Тверд и резок был Яблонский, но помощники его были люди слабые и дряхлые. В 1840 году был отставлен от службы поручик Павлов за старостью лет и за одержимость от слабости комплекции меланхолическими припадками; после него был отставлен через два года „за расслабление всего корпуса“ поручик Иванов; затем через три года был уволен и штабс-капитан Козыренко за тем, что от слабости здоровья едва передвигал ноги; а на месте и совсем стоять не может, а в Алексеевском рavelине требуется расторопность начальствующего, ежедневно ночной обзор и бодрствование. К такому-то месту и был определен в 1845 году поручик Книшенко, который тоже скончался от апоплексического удара в 1851 году“. Это — тот Книшенко, которому Ястржембский в приведенных строках его воспоминаний дал сравнительно приличную характеристику.

Пребывание в рavelине в 1849 году показалось Ястржембскому преддверием к смерти: „В рavelине я просидел, — говорит этот петрашевец, — с 23 апреля по 23 декабря 1849 г. и если бы мне пришлось посидеть еще неделю, я, вероятно, не вышел из него живым“.

„Все гигиенические условия были там, — продолжает Ястржембский, — удовлетворительны: чистый воздух, опрятность, здоровая пища и т. д., все было хорошо, доказательством того может служить то обстоятельство, что хотя в то время в Петербурге была сильная холера, из заключенных не заболел ни один. Убивающее влияние на меня оказало одиночное заключение. При одной мысли, что я нахожусь „*au secret*“ уже через две недели

заклучения со мною стали случаться нервные припадки, обмороки и биение сердца“ (см. сб. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“, стр. 149).

Петрашевский не выдержал заключения и через несколько недель после заточения писал в Комиссию жалобу на тяжесть условий рavelина, повлиявших на его нервную систему и умственные способности; он писал о пытках, которым его подвергли: „Употребленные над ним пытки заключались в следующем: с 23 апреля по 1 июня его лишали сна и постоянно беспокоивали стуком за стеной, что привело его в состояние тупоумия и беспамятства; потом остановлены были испражнения в обоих испражнительных органах, от чего, при постоянном нашептывании ему из-за стен разных разностей, он впал в совершенное беспамятство; нашептывание, из-за стен заменило в нем, Петрашевском, совершенно его собственное мышление и он угратил сознание времени и места“ („Петрашевцы“ т. III, под ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1928, стр. 46).

Д. Д. Ахшарумов в своих воспоминаниях сообщает, что „первый месяц тюремной жизни в Петропавловской крепости казался мне жестоким, невыносимым, но, по истечении его, образовалась уже некоторая выносливость. Не то, чтобы пребывание это в заключении сделалось более сносным,—нет, я жил одною мыслью, что дело наше должно окончиться, если не сегодня, то завтра, но вместе с тем меня не удивляла уже и не возбуждала во мне омерзения моя душная с загрязненными стенами тюремная келья“ („Из моих воспоминаний 1849 г.“, СПб., 1905, стр. 31). Д. Д. Ахшарумов описал и свою „келью“: „Тюремная моя келья была, кажется, четвертая от входной двери мрачного коридора. Стены отделяли меня от моих соседей справа и слева. Мне слышны были их шаги, по временам слышались глубокие громкие вздохи. Иногда то там, то здесь слышен был по коридору через несколько стен плач кого-либо — то рыдание, то всхлипывание. Тишина, спертый воздух, полнейшее безделье, доходившие до меня то возгласы, то вздохи заключенных товарищей, неизвестных мне,— все это вместе производило удручающее влияние, отнимавшее окончательно бодрость духа“ (там же, стр. 30; ср. еще стр. 2, 5, 6, 9 — 10, 27 и др.).

После 20 июня 1849 г., по рассказу Д. Д. Ахшарумова, „произошла внезапно большая перемена в содержании арестованных: постели изменились совершенно: тюфяки и подушки ветхие, жесткие были приняты и заменены новыми — чистыми, мягкими. Поданы были новые одеяла и халаты байковые, темносерые, мягкие; грубое белье все заменено было более тонким, мягким... В то же время последовало и изменение в пище: вместо солдатской порции, нам подавалась офицерская“.— Затем Д. Д. Ахшарумов был переведен в новую „более просторную, чем прежняя моя келья, с двумя окнами и потолком со сводами“ („Из моих воспоминаний 1848 г.“ СПб., 1905, стр. 52, 53, 54). В таких же условиях находился в рavelине и Ф. М. Достоевский.

Официальное сообщение об отъезде Достоевского в Сибирь восполняют мемуаристами. А. П. Милюков сохранил в своих воспоминаниях картину проводов Достоевского в Сибирь. Когда комендант крепости разрешил ему и М. М. Достоевскому видеть перед отъездом Достоевского и Дурова то провожавших „провели в какую-то большую комнату, в нижнем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер, и она освещалась одною лампою.

Мы ждали довольно долго, так что крепостные куранты раза два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменились: то же серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках. Крепостной офицер скромно поместился на стуле недалеко от входа и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз... Смотря на прощание братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его“ (см. В. Е. Чехихин-Ветринский „Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках“. М. 1912, стр. 48 и 49). В письме же к М. М. Достоевскому 22 февраля 1854 г. накануне выхода с каторги Ф. М. Достоевский рассказал брату о том, что было после свидания его с А. П. Милюковым и братом: „Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой! Только что ты оставил меня, как повели троих,— Дурова, Ястржембского и меня — заковывать. Ровно в 12 часов, т. е. ровно в Рождество (1849 г.) я первый раз надел кандалы. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4 санях, фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой, и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я в сущности был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у Краевского было большое освещение. Ты сказал мне, что у него елка, что дети с Эмилией Федоровной [отправились к нему, и вот у этого дома мне стало жестоко грустно“ (цит. по книге В. Е. Чехихина-Ветринского „Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках“, М. 1912, стр. 200—201).

В том же письме Ф. М. Достоевский кратко охарактеризовал сопровождавшего его, Дурова и Ястржембского в Сибирь фельдъегеря К. П. Прокофьева.

В дороге „все мы приглядывались и пробовали нашего фельдъегеря. Оказалось, что это был славный старик, добрый [и] человеколюбивый до нас, как только можно представить, человек бывалый, бывший во всей Европе — с депешами. Дорогой он нам сделал много добра. Его зовут Кузьма Прокофьевич Прокофьев. Между прочим, он нас пересадил в закрытые сани, что нам было полезно, потому что морозы были ужасные“.

После отправки Достоевского в деле Алексеевского равелина С.-Петербургской крепости (№ 1848, № 35, л. 60) был составлен перечень:

„Оставшиеся вещи после отправленного Достоевского“; с датой: 1849 года 24 декабря; а именно:

тук запечатанный с бумагами и с вещами	1
шинель на вате	1
пальто	1
сапоги	1 пара
шляпа пуховая	1
книг	28

Означенные в сей описи вещи получил подпоручик *Достоевский*.

В деле Алексеевского равелина С. Петербургской крепости (1849, № 35, л. 61) имеется „Опись принадлежащим вещам, № 9-ГО“, датированная 24 апреля 1849 года.

Звание вещей	Сколько числом
Денег серебром шестьдесят копеек	60 коп.
Шинель на вате	I
Сюртук суконный	I
Брюки триковые	I
Пальто	I
Жилет	I
Рубаха	I
Подштаники	I
Подтяжки резиновые	I
Платок шейный	I
Шарф шейный	I
Платок носовой	I
Сапоги	I
Чулки	I пара
Шляпа пуховая	I
Гребенка	I

Означенные вещи сдал отставной инженер поручик *Достоевский*

В том же деле (л. 60 и 61 об.) имеются записи расходов денег на предметы повседневного обихода, сделанные в целях контроля администрации самим арестованным. Судя по этим записям, можно видеть, как шла жизнь Достоевского, чем он восполнял казенное питание.

Деньги десять рублей серебром,

сдал *Ф. Достоевский*

Еще двадцать пять руб. сереб. сдал *Ф. Достоевский*.

Из тех издержано по 1-е Августа шестнадцать рублей серебром.

Ф. Достоевский

По первое Сентября на чай, сахар, табак и проч. изтрачено одиннадцать рублей семьдесят восемь копеек серебром.

Федор Достоевский

Десять руб. сереб. сдал 11-го Сент(ября) 1849 года

Ф. Достоевский

Из оных с 1-го Сентября по 1-е Октября, изтрачено мною на чай, сах., табак и проч. четырнадцать рублей, сорок пять копеек серебр.

Ф. Достоевский

С первого по пятнадцатое октября изтрачено мною на чай, сахар, и проч. два руб. семьдесят семь копеек серебром.

Федор Достоевский

Четвертого ноября сдал шесть рублей серебром. *Федор Достоевский*

С первого по двадцать четвертое ноября изтрачено мною на чай, сахар, табак и проч. Шесть рублей серебром.

Федор Достоевский

С 10 Декабря по 22 число изтрачено мною в разход все пять рублей серебр.

Федор Достоевский

Означенные по сей описи вещи и тюк с разными моими вещами получил и передал брату моему, Михайле Михайловичу Достоевскому.

Федор Достоевский

Общая сумма расходов Достоевского за время заключения равна 107 рублям.

ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО К БРАТУ М. М. ДОСТОЕВСКОМУ В ДЕНЬ КАЗНИ,¹

(Петербург, Петропавловская крепость)

22 декабря 1849 г.

Брат, любезный друг мой! все решено Я приговорен к 4-х летним рабстам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головами² шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, след., я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Один Пальм прощен, его тем же чином в армию.

Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видетсья с тобою. Но мне сказали, что это невозможно; могу только я тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорее отзыв. Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен

¹ Письмо в подлинном и полном виде опубликовано было впервые по автографу нами в журн. „Красный архив“, 1922, кн. II, стр. 234—239; затем с некоторыми неточностями воспроизведено (по копии) Ю. М. Бочаровым в журн. „Современник“, изд. ГИЖ, М. 1925, № 1, стр. 141—150; первый абзац письма появился в № 1790 „Нов. времени“ за 1881 г.; затем — этот абзац повторен в воспомин. А. П. Милюкова о Ф. М. Достоевском в журн. „Русск. старина“, 1881, март, стр. 706 и 707; затем этот же абзац напечатал Н. Н. Страхов в „Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского“ в изд. „Библиография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского“ 1883, стр. 72; наконец перепеч. В. Е. Чехихиным-Ветринским в сб. „Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, — письма“. М. 1912 и 2-е изд. 1925.

² *Над зачеркн.*: головою.

наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть весть прошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня. Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастях не уныть и не пасть — вот в чем жизнь! в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвляют меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это, все-таки жизнь. *On voit le soleil!* Ну, прощай, брат! Обо мне не тужи! Теперь о распоряжениях материальных: книги (Библия осталась у меня) и несколько листков моей рукописи, черного плана драмы и романа (и оконченная повесть Детская сказка) у меня отобраны и достанутся, по всей вероятности, тебе. Мое пальто и старое платье тоже оставляю, если пришлешь взять их. Теперь, брат, предстоит мне, может быть, далекий путь по этапу. Нужны деньги. Брат милый, как получишь это письмо, и если будет возможность достать сколько-нибудь денег, то пришли тотчас же. Деньги мне теперь нужнее воздуха (по особенному обстоятельству). Пришли тоже несколько строк от себя. Потом, если получатся московские деньги, — похлопочи обо мне и не оставь меня. Ну вот и все! Есть долги,¹ но что с ними делать?..

Цалуй жену свою и детей. Напоминай им обо мне; сделай так, чтобы они меня не забывали. Может быть, когда-нибудь увидимся мы?! Брат, береги себя и семью, живи тихо и предвиденно. Думай о будущем детей твоих... Живи положительно. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня золотуха. Но авось либо! Брат, я уже переиспытал столько в жизни, что теперь меня мало что утрашит. Будь, что будет! При первой возможности уведомлю тебя о себе. Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за их постоянное участие к моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне.² Я ей желаю много счастья [и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову, а затем и всем. Отыщи Яновского. Пожми ему руку, поблагодари его. Наконец всем, кто обо мне не забыл. А кто забыл, напомни. Подалуй брата Колю. Напиши письмо брату Андрею и уведоь его обо мне. Напиши дяде и тетке. Это я прошу тебя от себя, и кланяйся им за меня. Напиши сестрам: им желаю счастья!

¹ А. Г. Достоевская сделала примечание: „Долг Краевскому, который уплочен был „Детскою Сказкою“. (См. „Красный архив“, 1922, кн. II, стр. 397.)

² Мать Аполлона Николаевича Майкова.

А может быть, и увидимся, брат. Береги себя, доживи, ради бога до свидания со мной. Авось когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновение вырываю из сердца моего с кровью и короною их.

Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю через 4 года будет возможность. Я перешаю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках.

Пиши ко мне чаще, пиши подробнее, больше, обстоятельнее. Распространяйся в каждом письме о семейных подробностях, о мелочах, не забудь этого. Это дает мне надежду [и] жизнь. Еслиб ты знал, как оживляли меня здесь в каземате твои письма. Эти два месяца с половиной (последние), когда было запрещено переписываться, были для меня очень тяжелы. Я был нездоров. То, что ты мне не присылал по временам денег, измучило меня за тебя: знать, ты сам был в большой нужде! Еще раз подалуй детей; их милые личики не выходят из моей головы. Ах, кабы они были счастливы! Будь счастлив и ты, брат, будь счастлив!

Но не тужи, ради бога, не тужи обо мне! Знай, что я не уныл, помни что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой, — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!

Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление — скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью. Я думал в ту минуту, что весть о казни убьет тебя. Но теперь будь покоен, я еще живу и буду жить в будущем мыслю, что когда-нибудь обниму тебя. У меня только это теперь на уме.

Что-то ты делаешь? Что-то ты думал сегодня? Знаешь-ли ты об нас? Как сегодня было холодно!

Ах, кабы мое письмо поскорее дошло до тебя. Иначе я месяца четыре буду без вести о тебе. Я видел пакеты, в которых ты присылал в последние два месяца деньги; адрес был написан твоей рукой, и я радовался, что ты был здоров.

Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. *Si jeunesse savait!* Теперь, переменя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое!

Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей не совсем чистых; я мало берег себя прежде. Теперь уже лишения мне ни-

почем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может! Ах! Кабы здоровье!

Прощай, прощай брат! Когда-то я тебе еще напишу! Получишь от меня сколько возможно подробнейший отчет о моем путешествии. — Кабы только сохранить здоровье, а там и все хорошо!

Ну прощай, прощай, брат! Крепко обнимаю тебя, крепко цалую. Помни меня без боли в сердце. Не печалься, пожалуйста, не печалься обо мне! В следующем же письме напишу тебе, каково мне жить. Помни же, что я говорил тебе: рассчитай свою жизнь, не трать ее, устрой свою судьбу, думай о детях. — Ох, когда бы, когда бы тебя увидеть! Прощай! Теперь отрываюсь от всего, что было мило; больно покидать его! Больно переломить себя надвое, перервать сердце пополам. Прощай! Прощай! Но я увижу тебя, я уверен, я надеюсь, не изменись, люби меня, не охлаждай свою память, и мысль о любви твоей будет мне лучшею частию в жизни. Прощай, еще раз прощай! Все прощайте!

Твой брат *Федор Достоевский*

27 Декабря 49-го года.

У меня взяли при аресте несколько книг. Из них только две были запрещенные. Не достанешь-ли ты для себя остальных? Но вот просьба: из этих книг одна была: Сочинение Валериана Майкова: его критики — экземпляр Евгении Петровны. Она дала мне его как свою драгоценность. При аресте я просил жандармского офицера отдать ей эту книгу и дал ему адрес. Не знаю, возвратил ли он ей. Справься об этом! Я не хочу отнять у нее это воспоминание. Прощай, прощай еще раз.

Твой *Ф. Достоевский*

Не знаю пойду-ли я по этапу или поеду? Кажется, поеду. Авось либо. Еще раз пожди руку Эмилии Федоровне, цалуй деток.

— Поклонись Краевскому; может быть...

Напиши мне подробнее о твоём аресте, заключении и выходе на свободу.

(На обороте)

Михаиле Михайловичу Достоевскому

На Невском проспекте, против Грязной, в доме Неслинда.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ — „ЧЛЕН ТАЙНОГО ОБЩЕСТВА“

События 1849 г. имели своеобразный отзвук для Достоевского через двадцать лет — в 1868 г. В Вюрцбурге вышла книга Пауля Гримма „Тайны царского двора времен Николая I“.¹ В романе дана фантастическая картина последних дней царствования Николая I.² События в „Тайнах“ происходят в 1855 году, и Достоевский изображен проживающим в Петербурге. Он участвует в каком-то тайном обществе, к которому примкнул после возвращения из Сибири, куда был сослан по делу „Петрашевского-Петрушевича“. Члены тайного общества, в том числе и Достоевский, собираются в подвале. Их выслеживают. Достоевский арестован. На допросе у Орлова в III отделении собств. е. в. канцелярии он не желает открыть своих соучастников. Его подвергают тут же „секуции“ (выражение! автора) и отправляют в Петропавловскую крепость. Жена Достоевского пытается его спасти. Она вымаливает у императора Николая прощение для мужа. Она является в крепость, но Достоевского там уже нет. В III отделении Орлов объявляет ей, что Достоевский уже „выслан в Сибирь и по дороге умер в Шлюссельбурге(?)“. Почти одновременно с Достоевским кончает самоубийством и Николай I.

Достоевский прочел эту книгу раньше, чем о ней написал ему А. Н. Майков. Последнему Достоевский по поводу ее в письме из Милана 7 ноября (26 октября)³ 1868 г. ответил: „Я читал книжонку.... и, признаюсь,

¹ Книга вышла на французском языке и полное ее заглавие такое: *Les mystères du Palais de Tzars (sous l'Empereur Nicolas I) par Paul Grimm, propriété de l'éditeur. Vurzburg. F. A. Julien libraire-éditeur. 1868.*

² С этой книгой нам лично не удалось ознакомиться, так как ее в Москве нет. Мы получили краткое изложение содержания книги, составленное Е. Б. Покровской-Гиппиус, которой выражаем свою признательность. Экземпляр книги в Ленинграде имеется только в Публичной библиотеке.

³ В издании писем Страхова (1883 г.) письмо датировано: „7 октября (26 ноября)“. Это, конечно, ошибка. В автографе письма (хранящемся в Пушкинском Доме) та же ошибочная дата (см. сообщение Е. Б. Покровской „Переписка Достоевского с Майковым“, в сборнике „Достоевский“. Статьи и материалы под редакцией А. С. Долинина, т. 2, Л. 1925, стр. 334). По предположению Е. Б. Покровской и А. С. Долинина, здесь путаница

был взбешен ужасно. Наглее ничего представить нельзя. Конечно, наплевать, я так, было, и хотел сначала; но меня смущает и то, что если я не простую, то тем самым как бы дам мое оправдание подлой книжонке“.

В нашем распоряжении имеется черновик письма Достоевского на русском языке к неизвестному пока для нас редактору швейцарского журнала, в котором Достоевский опровергает ложь этой вздорной книги, приписывая появление подобных сочинений незнакомству с Россией лиц, пишущих о ней. Но задуманное письмо говорит о том, что Достоевский сделал попытку разоблачить книгу. Появилось ли и где именно в печати это письмо Достоевского, нам неизвестно. Текст его следующий:

„Господин редактор. Позвольте иностранцу прибегнуть к благосклонной помощи вашего уважаемого журнала для ниспровержения лжи и восстановления истины.

Вот уже год, как я живу в Швейцарии. Выезжая прежде из России за границу, я только [ездил]¹ проезжал мимо, путешествовал. Теперь же в первый раз поселился на месте, не езжу как путешественник, а живу в чужой земле на одном месте. Таким образом в первый раз в моей жизни заметил во всей силе многое из того, чего бы мне и в голову не пришло, если бы я только проезжал путешественником.

Между прочим, меня чрезвычайно поразило необыкновенное незнание европейцев почти во всем, касающемся России. Люди, называющие себя образованными и цивилизованными, готовы часто с необычайным легкомыслием судить о русской жизни, не зная не только условий нашей цивилизации, но даже, например, географии. Не буду распространяться об этой неприятной и щекотливой теме. [Скаж.] Замечу только, что самые дикие и необычайные известия из современной жизни России находят в публике полную [вы] и самую наивную веру. Нельзя не заметить, что масса этих известий увеличивается как в газетах, так и в отдельных изданиях, [что кон.] что, конечно, составляет признак все большего и большего интереса, который возбуждает - мое отечество в массах европейской публики.

Всем известно, что есть в Европе несколько периодических изданий, почти специально назначенных ко вреду России. Не прекращается тоже в разных [концах] края Европы и появление отдельных сочинений с тою же целью. Эти книжки имеют большею частью вид обнаружения тайн и ужасных секретов России. Человек, европеец или русский, долго страдавший и негодовавший в России, собиравший сведения, случайно поставленный так, что мог [обнаружить] добраться до истины и до обнаружения чрезвычайных

в месяцах: надо переставить ноябрь на место октября, так как обычная датировка заграничных писем первую дату имеет по новому стилю, а второй датой обозначается старый стиль. Разница в стилях в 12 дней предполагает здесь обязательно два месяца; тогда как в пределах одного месяца выходит разница в 21 день. Поскольку в октябре 31 день, вычисление получается верное для прошлого века. С соображениями А. С. Долинина и Е. Б. Покровской мы вполне согласны и выше датируем письмо, исправив месяцы.

¹ Слова, зачеркнутые самим Достоевским в тексте, ставим в прямые скобки.

фактов, успевает наконец, покинуть несчастную страну, в которой он задыхался от негодования, и где-нибудь за границей, где уже русское правительство над ним бессильно, издает, наконец, книгу,— свои наблюдения, записки, секреты. Его издатель спешит надписать на заглавной странице „собственность издателя“ — и вот масса публики, в чем я твердо убедился в этот год жизни за границей, с самой наивной добросовестностью верит, что все это правда, святая истина, а не спекуляция на благородных чувствах читателя, не продажа на фунты или на лиры благородного негодования, отлично фабрикованного¹ для двух целей — для вреда России и для собственной выгоды, потому что благородное негодование все-таки продается и продается с выгодой. Книжка издателю окупается, „труд“ сочинителя тоже.

Таких книжек я видел много, некоторые из них читал. Фабрикованы они или иностранцами или даже русскими,— во всяком случае — людьми, необходимо бывшими в России. В них называются известные имена, сообщается история известных лиц, описываются события, действительно бывшие, — но все это описано неверно, с искажением — для известной цели. И чем более автор лжет, тем становится он наглее. [Нужны] Промахи против истины и умышленные клеветы до такой степени иногда наглы и бесстыдны, что становятся даже забавны. Я часто смеялся, читая эти сочинения. Тем не менее [эти] они вредны, так, как и всякая клевета, всякое искажение истины. От всякой клеветы, как бы она ни была безобразна, все-таки что-нибудь остается. Кроме того, в мас [с] ах европейской публики распространяются ложные [искажения] искаженные мнения и тем сильнее, чем малоизвестнее европейцам русская жизнь, а ложные мнения, ложные убеждения могут вредить в этом случае и не одной России. Таково, по крайней мере, мое убеждение.

И, однако, признаюсь, я никогда² не взял бы на себя труда обнаруживать в этом случае ложь и восстанавливать истину; труд слишком был бы уж унизителен. По прочтении [многих] некоторых из этих сочинений мне становится всегда почему-то чрезвычайно стыдно: или за автора, или за себя, что я взял на себя труд читать такую наглую нелепость.³

Но вот на-днях, случайно, попалась мне на глаза книжонка „Les mystères du Palais des Czars (sous l'Empereur Nicolas I) par Paul Grimm, propriété de l'éditeur. Vurzburg. T. A. Julien libraire-éditeur. 1868“.

В этой книжке описывается собственная моя история, и я занимаю место одного из главнейших действующих лиц. Действие происходит в Петербурге, в последний год царствования императора Николая, то-есть в 1855 году. И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим [и обнаруживаются будто бы секреты и тайны], с наглостью, почти непостижимою. [Упоминает] Выставляются лица, существующие действительно, упоминается о происшествиях не фантастических, но все до такой степени искажено и исковеркано, что [не в]

¹ Первоначально: „Подделанного“, заменено и зачеркнуто.

² Первоначально: „Всетаки“, потом зачеркнуто и заменено: „никогда“

³ Первоначально: „мерзость“, но зачеркнуто и заменено: „нелепость“.

читаешь и не веришь [подо] такому бесстыдству. Я, например, назван моим полным именем „Théodore Dostoiewsky, писатель, женат, председатель тайного общества“...

На этом обрывается письмо. Письмо недописано и не датировано. Каким временем его датировать? Пока за отсутствием определенных данных, возможно точно указать год: 1868, и приблизительно месяцы: август — сентябрь.¹

В перспективе литературно-общественных настроений Достоевского в 70-е годы письмо это представляет интерес. За год перед тем появился в свет роман Тургенева „Дым“, герой которого Потугин вызвал крайне резкое осуждение со стороны Достоевского. Достоевский, встретаясь с Турге-

¹ Достоевские Ф. М. и А. Г. приехали в Женеву из России через Баден 14—25 августа 1867 г. В этом письме Ф. М. указывает на годичное свое пребывание в Швейцарии (вот уже год как я живу в Швейцарии“). Таким образом, датой письма надо считать июль—август 1868 г.; разумеется, датировка эта условна. Письмо обнаружено в тетради № 3, хранящейся в личном фонде писателя в Централархиве. Письмо находится на стр. 89, 88 и 90 тетради; после письма на одной из ближайших страниц стоит дата 9 сентября нового стиля 1868 г. — по старому стилю это 28 августа. Попутно заметим, что на последней странице тетради есть дата. („Петербург 7 августа 1877 г. я еще не начинал продолжения романа“ — пишет Достоевский; роман — „Бесы“.) Первая дата позволяет думать, что письмо писано приблизительно в августе 1868 г. — Майкову в октябре 1868 г. Достоевский пишет о книге, как уже известной ему.

Но возможно сделать и другое предположение. Именно, после ответа Майкова Достоевский посоветовался с русским консульством в Женеве и набросал черновой набросок письма, который мы и привели выше. Рассуждая так, надо допустить, что датой письма является время после посылки письма Майкову, т. е. время после 7 ноября 1868 г. Придавать значение месту записи письма в тетради особенно не следует: ведь Достоевский записывал не в порядке страниц. Он часто писал вперемежку, торопливо записывая пришедшую в голову мысль там, где свободно. И в тетрадях его можно встретить не раз случаи записывания материалов об одном и том же сюжете в двух-трех местах, из которых (материалов) одна часть бывает записана в начале тетради, другая в конце и в обратном порядке. Посредине эти записи бывают разделены другими, совсем неоднородными с первыми записями. Так и в данном случае, черновик этого письма очутился между записями материалов к роману „Вечный муж“ (1869 и 1870 гг.). Самая запись письма шла в необычном порядке; начатая на 89 стр. запись перекинулась на 88 и закончилась на 90 стр. Словом, наше наблюдение говорит о том, что по месту записи датировка письма не может быть точно определена; скорее данные другого порядка (если только они найдутся; напр., тот журнал, где появилось письмо) — подскажут решение, — но таковых пока у нас нет. Письмо осталось в черновом, не отделанном и незаконченном виде. Никаких следов того, что Достоевский беседовал или советовался с консульством, нет. Поэтому вероятнее всего, что дело ограничилось вспышкой настроения Достоевского после того, как он прочел книгу, — и черновым наброском предполагаемого ответа. Затем все осталось забытым.

невым вскоре в Баден-Бадене, поссорился с ним из-за романа. В известном письме к А. Н. Майкову 16(28) августа 1867 г. Достоевский взволнованно рассказал последнему о причинах размолвки с автором романа „Дым“ „Главное, — писал Достоевский Майкову, — книга „Дым“ раздражала“. И тут же ссылается на смысл, на „главную мысль“ романа, которая собственно и раздражала его: „Тургенев сам говорил мне, — добавляет Достоевский, — что главная мысль, основная точка его книги, состоит в фразе: „Если бы провалилась Россия, не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве“. Близкой разновидностью этого „убеждения“ Тургенева, так сильно оскорбившего Достоевского, мог Достоевский считать и „Тайны двора времен Николая I“, — вот почему он был так задет этой книгой.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авдеев П. Г. — 151.
 Аксаков И. С. — 193, 225.
 Александр II — 186, 203.
 Александр III — 32, 225.
 Алексеев М. П. — 212.
 Антонелли П. Д. — 38, 61, 62, 71,
 98—100, 163, 181, 182, 185—188,
 197—199, 210—213, 216, 218—220.
 Аслан — 151.
 Ахшарумов Д. Д. — 7, 8, 9, 17, 52,
 53, 100, 101, 113, 153, 160, 161,
 172, 177, 192, 198, 204, 205, 211,
 213, 226, 228.
 Ашевский С. — 50.
 Баласоголо А. П. — 43, 99, 113, 115,
 203, 211, 212, 225.
 Барбье О. — 212.
 Батюшков Ф. Д. — 191.
 Beaumont — 203.
 Бебель А. — 202.
 Безобразов — 150.
 Бекетов А. Н. — 15, 16, 20, 23.
 Бекетов Н. Н. — 15, 16, 20, 23.
 Белецкий П. И. — 140, 198, 220, 225.
 Белинский В. Г. — 7, 15, 16, 20, 22,
 27—30, 36, 38, 45, 46, 49, 50, 71,
 76, 84—86, 94, 99, 101, 107, 120—
 122, 135, 136, 143, 144, 153, 154,
 155, 157, 158, 160, 162—165, 167—
 173, 186, 191, 197, 199, 209, 211.
 Бенкендорф А. Х. — 208.
 Берви В. В. (Флеровский) — 15.
 Бердяев — 147.
 Берестов А. И. — 99, 113, 115, 212.
 Балн Луи — 198, 203, 212.
 Блюм В. — 147.
 Борисов И. В. — 225.
 Бочаров Ю. М. — 232.
 Бремер — 69, 71, 97.
 Бурнашев В. П. — 152.
 Бутовский А. — 213.
 Быстров В. — 218.
 Васильев, колл. секр. — 177.
 Введенский Ир. — 219.
 Введенский Н. И. — 198.
 Вернацкий — 151.
 Веселовский К. — 198.
 Взметнев — 152.
 Вирандер колл. секр. — 177.
 Висковатов П. А. — 18, 19, 20, 47,
 186, 187.
 Витковский К. Я. — 150.
 Волоцкий М. В. — 215.
 Гагарин П. П. — 204—206.
 Гедерштерн А. К. — 204, 208.
 Гельвеций — 9, 43, 197, 203, 204,
 Герцен А. И. — 28, 145, 154, 158,
 165, 166, 198, 220, 221.
 Гете В. — 48.
 Гоголь Н. В. — 7, 30, 36, 49, 71,
 76, 84—86, 99, 101, 107, 120—122,
 135, 136, 143, 153—155, 157, 160,
 162—165, 171, 191, 216.
 Голицын А. Ф. — 94, 95, 101, 204,
 207, 208, 219.
 Головинский В. А. — 7, 12, 31, 34—
 38, 41, 47, 49, 50, 71, 99, 100, 109,
 113, 114, 116—120, 144, 145, 155,
 156, 158, 163, 172, 185, 186, 216, 225.
 Гольбах П. — 9.
 Гофман Н. — 61, 189, 190.
 Гренков — 151.

- Грибоедов А. С. — 82.
 Григорович Д. В. — 15.
 Григорьев А. А. — 193.
 Григорьев Н. П. — 5, 7, 10, 31, 34, 44, 47, 49, 99, 135, 136, 144, 151, 154, 157, 158, 165, 166, 170—172, 185, 186, 212, 213, 217, 219.
 Гримм П. — 236—240.
 Данилевский Н. Я. — 7, 129, 145, 158, 166, 202, 219.
 Деев П. А. — 114, 185, 217, 218.
 Десбут (Дебу) И. М. — 7, 113, 172, 205, 218.
 Десбут (Дебу) К. М. — 7, 45, 113, 172, 218.
 Добролюбов Н. А. — 28.
 Долгоруков В. А. — 204, 206, 208.
 Долгоруков П. В. — 208.
 Долинин А. С. — 18, 19, 186, 188, 197, 236, 237.
 Достоевская А. Г. — 57, 61, 182, 189, 190, 191, 233, 239.
 Достоевская М. Ф. — 108, 215.
 Достоевская Э. Ф. — 205, 229, 233, 235.
 Достоевские братья — 7, 71, 100, 182, 186—188, 197, 203, 217.
 Достоевский А. М. — 20, 21, 182, 187, 215, 233.
 Достоевский М. А. — 108, 215.
 Достоевский М. М. — 16, 64, 109, 114, 129, 130, 132, 182, 186, 187, 197, 205, 209, 217, 223, 229, 231—235.
 Достоевский Н. М. — 233.
 Доктуров Д. С. — 207.
 Дубельт Л. В. — 70, 204, 206 — 210.
 Дуров С. Ф. — 7, 17, 18, 20, 28—38, 43—47, 49, 57, 63, 98, 99, 101—103, 109, 113, 115, 121, 124, 125, 129, 130, 132, 135, 136, 139, 140, 148—151, 153—155, 157, 163—166, 170—172, 174, 177, 182, 188, 197, 203, 209, 211, 212, 214, 216—219, 225, 228, 229, 232.
 Европеус А. И. — 172, 192.
 Есаков Е. С. — 203.
 Закровский А. А. — 194.
 Зеленецкий К. П. — 201.
 Зотов В. Р. — 193.
 Иванов — 227.
 Исаева М. Д. — 52.
 Кабе Э. — 91, 198, 202, 203.
 Кайданов В. И. — 99, 113, 115, 120, 150, 151, 198, 212, 216.
 Кайданов Н. И. — 99, 199—200.
 Каллаш В. В. — 193, 201.
 Каракозов Д. В. — 205.
 Карепин П. А. — 20, 21.
 Катенев В. П. — 217, 225.
 Катков М. Н. — 60.
 Кашевский Н. А. — 132, 219.
 Кашин — 113.
 Кашкин Н. С. — 7, 29, 45, 129, 172, 192, 219.
 Кашкин С. Н. — 219.
 Кетлэ А. — 195.
 Кириллов Н. С. — 192.
 Кирпотин В. Я. — 64.
 Книщенко — 227.
 Козыренко — 227.
 Комарович В. Л. — 15.
 Консидеран В. — 44, 91, 198, 200, 203.
 Корнилов И. П. — 191.
 Котельницкие — 215.
 Котельницкий В. М. — 215.
 Краевский А. А. — 63, 109, 181, 183, 215, 219, 229, 233, 235.
 Кропотов Д. А. — 113. 218.
 Крылов И. А. — 86.
 Кузьмин А. А. — 218, 225.
 Кузьмин П. А. — 113, 129, 192, 198, 218, 225.
 Куманины — 215.
 Ламанские бр. — 132, 136, 157, 219.
 Ламанский Е. И. — 7, 34, 219.
 Ламанский П. И. — 7, 199, 200, 217, 219.
 Ламартин А. — 199.
 Ламенэ Ф. — 301, 48, 149, 154, 157, 164, 165, 219.
 Лейкина В. Р. — 29, 218.
 Лейгер — 177.
 Лемке М. К. — 196, 221, 225.
 Ленин В. И. — 11, 13, 28, 36, 38, 46, 47.

- Липранди И. П. — 9, 10, 11, 12, 13, 181, 198, 204, 207—211.
 Ломоносов М. В. — 83.
 Луи Филипп — 203.
 Лукин В. В. — 152.
 Луначарский А. В. — 58.
 Львов Ф. Н. — 7, 31, 53, 113, 136, 142, 157, 165, 172, 194, 198, 217, 218.
 Ляцкий Е. А. — 202.
 Мадерский А. Т. — 114, 218.
 Майков А. Н. — 18, 19, 20, 47, 63, 146, 186—188, 221, 233, 236, 239, 240.
 Майков В. Н. — 146, 188, 202, 235.
 Майков В. Н. — 188.
 Майков Л. Н. — 188.
 Майков Н. А. — 109, 215, 233.
 Майкова Е. П. — 233, 235.
 Майковы — 71, 100, 187, 188, 215, 233.
 Макеев — 152.
 Маколей Т. — 192.
 Мальтус Р. — 200.
 Маркс К. — 9, 42, 202, 203.
 Маслов Н. Н. — 190.
 Миллер О. Ф. — 4, 36, 57, 192, 205—207.
 Миллюков А. П. — 5, 7, 30, 32—34, 40, 41, 63, 135, 136, 148, 149, 157, 165, 198, 207, 219, 228, 229, 232.
 Михайлов А. М. — 152, 217.
 Момбелли Н. А. — 7, 31, 32, 99, 101, 113, 122, 132, 135, 136, 139, 153, 157, 158, 161, 164—166, 170—172, 192, 195, 197, 203, 212, 217.
 Мордвинов Н. А. — 7.
 Мотрашенко — 151.
 Муравьев Н. Н. (Амурский) — 186.
 Набоков И. А. — 52, 94—96, 174, 175, 177, 204, 205, 222, 225, 226, 228.
 Назаров — 152.
 Неслинд — 235.
 Нечаев С. Г. — 30.
 Нечаев Ф. Т. — 215.
 Нечаева А. Ф. — 215.
 Нечаева В. М. — 215.
 Николай I — 35, 53, 96, 97, 177, 181, 182, 194, 196, 206, 208, 210, 226, 232, 236, 238, 240.
 Нифонтов А. — 196.
 Оксман Ю. Г. — 64, 196, 201, 202.
 Орлов А. Ф. — 70, 177, 181, 182, 191, 194, 207, 208, 211.
 Павлов, поручик — 227.
 Паже (Гарнье-Паже А.) — 203.
 Пальм А. И. — 7, 17, 30—32, 34, 36, 37, 102, 109, 113, 120, 125, 129, 132, 135, 136, 154, 157, 165, 172, 181, 182, 186, 209, 214, 217, 218, 232.
 Пальчиков — 150.
 Панаева-Головачева А. Я. — 197.
 Переверзев В. Ф. — 57.
 Петр I — 40, 80, 81, 83, 84, 225.
 Петрашевский М. В. [Буташевич] — 7—9, 15—17, 19, 32, 34—39, 43, 45, 49, 50, 51, 64, 71—77, 84—93, 98—101, 105—107, 110, 113—117, 120, 121—125, 129, 132, 136, 139, 142, 146, 147, 150—156, 160—164, 170—172, 181, 182, 185—188, 191—195, 197—200, 202—204, 207, 209, 211—214, 216—222, 225, 228.
 Петров — 152, 225.
 Плеханов Г. В. — 22.
 Плещеев А. Н. — 7, 15—17, 19, 28—32, 94, 101, 102, 109, 110, 113, 129, 130, 145, 149, 150, 154, 158, 165, 166, 170—172, 177, 182, 186, 188, 192, 198, 209, 211, 214, 216, 217, 232.
 Пирогов Н. И. — 195.
 Победоносцев К. П. — 54.
 Покровская-Гиппиус Е. Б. — 236, 237.
 Покровский М. Н. — 60.
 Полянский — 151.
 Попова О. Н. — 225.
 Прокофьев К. П. — 174, 177, 229.
 Прудон П. — 43, 45, 94, 98, 154, 197—200, 203, 204, 209, 220.
 Пугачев Е. И. — 33.
 Пушкин А. С. — 22, 33, 82, 208.

- Пыпин А. Н. — 191.
Раскольников Ф. Ф. — 41.
Ратовский — 151.
Ридерман — 198.
Рожков Н. А. — 29.
Розанов В. В. — 57.
Ромашов А. И. — 147, 221.
Ростовцев Я. И. — 52, 192, 199, 204—207.
Сагынский А. А. — 204, 208.
Сакулин П. Н. — 41, 48.
Салтыков М. Е. (Щедрин) — 147, 202, 203, 221.
Самарин Ю. Ф. — 225.
Севастьянов — 151.
Семевский В. И. — 11, 17, 31, 34, 36, 41, 43, 62, 191—193, 195, 198, 199, 203, 209, 212, 214, 216, 217.
Семенов П. П. — 152.
Семенов-Тянь-Шанский П. П. — 38, 46, 212.
Сен-Симон А. — 198, 201, 212.
Сервантес М. — 129.
Серно-Соловьевич Н. А. — 219.
Сипко — 152.
Смирнова А. О. — 225.
Сократ — 18, 47.
Соловьев Вс. С. — 53.
Спешнев Н. А. — 7—9, 11, 14, 16—20, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 101, 129, 132, 135, 136, 139, 142, 143, 145, 148, 154, 157, 158, 165, 166, 170—172, 186, 193, 206, 207, 213, 214, 216, 217, 219.
Стальницкий — 151.
Стасов А. — 152.
Стасов В. — 152.
Степанов — 151.
Страхов — Н. Н. — 232, 236.
Сундуков 1-й — 152.
Сундуков 2-й — 152.
Сю Э. — 94, 154, 167, 203, 209, 220.
Тимковский К. И. — 31, 101, 122, 125, 126, 129, 153, 156, 157, 160, 161, 164, 172, 198, 199, 213, 214, 216.
Толстов А. Д. — 225.
Толь Ф. Г. — 89, 98, 99, 114, 122, 172, 198, 199, 225.
Тотлебен Э. И. — 43, 48, 53, 59.
Тургенев И. С. — 239, 240.
Фейербах Л. — 9, 16.
Филиппов П. Н. — 7, 10, 18, 19, 28, 30—32, 34—36, 71, 99, 101, 109, 113—115, 130, 131, 132, 135, 139, 148, 153, 154, 157, 160, 164, 165, 172, 186, 217, 225.
Фонвизин Д. И. — 82.
Фурье Ш. — 5, 7, 8, 10, 19, 41—45, 51, 75, 76, 88, 89, 90—93, 101, 105—107, 125, 126, 153, 156, 161, 164, 188, 192—194, 197—205, 219.
Ханыков А. В. — 15, 172, 195.
Хмельницкий Н. И. — 99, 212.
Черносвитов Р. А. — 14, 142, 143, 193, 198, 220, 225.
Чернышевский Н. Г. — 202, 208, 219.
Чешихин-Ветринский В. Е. — 229, 232.
Чириков М. Н. — 114, 218.
Чудинов — 69, 181.
Чулков Г. И. — 51.
Шапошников П. Г. — 172, 218, 225.
Шевалье М. — 212.
Шиль Я. К. — 69, 71.
Шмаков С. С. — 62, 94, 159, 204, 214, 215.
Штраус Д. — 203.
Щеголев П. Е. — 8, 31, 34, 35, 44, 61, 63, 186, 191, 193, 194, 197—201, 204—207, 210, 211, 213, 218, 221, 222, 227.
Щелков А. Д. — 17, 32, 102, 125, 132, 154, 217, 218.
Энгельс Ф. — 9, 14, 46, 201—203.
Яблонский К. И. — 174, 226, 227.
Яковлев М. — 147.
Яковлев Ф. — 147.
Яновский С. Д. — 48, 109, 215, 233.
Ястржембский И. Л. — 7, 53, 57, 63, 89, 90, 98—101, 115, 122, 160, 172, 174, 177, 192, 198—200, 204—207, 216, 225, 227, 229.
Яшвилль — 147.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Достоевский и Петрашевцы (статья Н. Ф. Бельчикова)	3
Следственное дело о Ф. М. Достоевском	65
* Секретное предписание об аресте Ф. М. Достоевского	69
Выписка из „Списка лицам, посещавшим с 11 марта сего (1849) г[ода] собрания Петрашевского по пятницам“	71
* Объяснение Ф. М. Достоевского	72
* Сообщение комиссии о бумагах Достоевского	94
* Препроводительное отношение Председателя Комиссии по разбору бумаг кн. А. Голицына	95
* Указ об отставке Ф. М. Достоевского	96
Донесение П. Д. Антонелли	98
Показания свидетелей	101
Показания обвиняемого	105
Формальный допрос	108
Отдельные показания Ф. М. Достоевского	110
Из дела о титулярном советнике Аполлоне Майкове (ч. 92)	146
Из дела о Ромашове, Салтыкове, Бердяеве, Яшвиле, извозчиках: Федоте и Михайле Яковлевых и Блюм (ч. 98)	147
* Из дела о коллежском секретаре Милукове (ч. 101)	148
* Из высочайших повелений и других бумаг, относящихся до лиц, прикосновенных к делу, а также до лиц, освобожденных от допросов	150
Выписка из дела об отставном инженер-поручике Федоре Достоевском	153
Доклад генерал-аудиториата об отставном инженер-поручике Достоевском	160
* Подписка Достоевского в военно-судной комиссии	168
Показания на суде	169
Приговор суда	170
Заключение генерал-аудиториата	171
* Предписание о высылке Достоевского и др.	174
Рапорт об отправке Достоевского	177
Примечания	179
Приложения	223
Ф. М. Достоевский в равелине	225
Письмо Ф. М. Достоевского брату М. М. Достоевскому в день казни	232
Ф. М. Достоевский — „член Тайного общества“	236

Технический редактор О. Подобедова
Корректор А. Урбанович

Сдано в набор 8/III 1936 г. Подписано к печати
22/III 1936 г. Формат 62×94 1/16. Объем $15\frac{1}{2}$ п. л.
В 1 п. л. 38 000 печ. зн. Тираж 5165 экз. Уполн.
Главлита В-40821. АНИ № 164 Заказ № 1199

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига“. Москва, Валовая, 28.

Цена 4 руб.
Переплет 50 коп.